

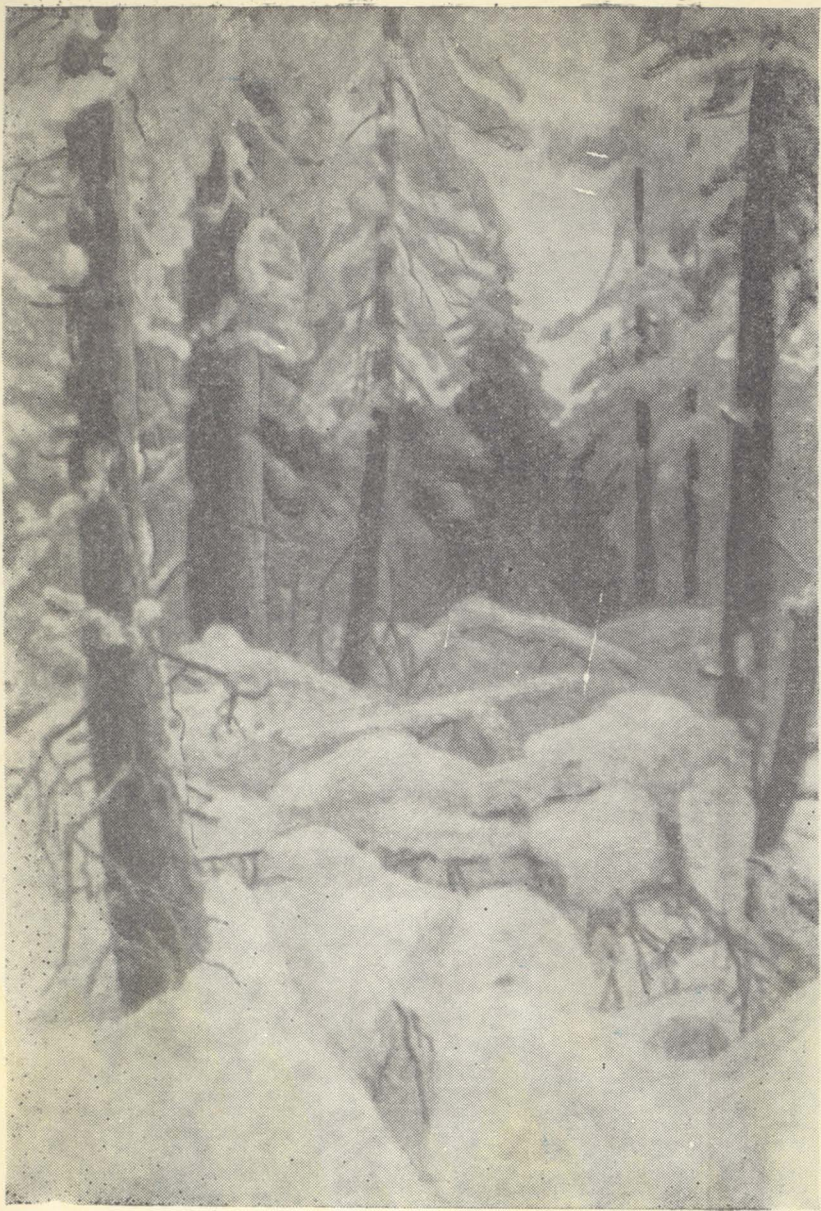
0-38

№3

266995

ОГНИ КУЗБАССА





В. Д. Вучичевич-Сибирский. «РАЗРУШЕН-
НАЯ БЕРЛОГА» (см статью М. Панькова
«Мастер сибирского пейзажа»)

ОГНИ КУЗБАССА

Год издания 22-й

№3, 1970

ЛИТЕРАТУРНО-
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-
ПОЛИТИЧЕСКИЙ
АЛЬМАНАХ,
ОРГАН
КЕМЕРОВСКОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ
СОЮЗА
ПИСАТЕЛЕЙ
РСФСР



389156

В номере:

ПОВЕСТИ И РАССКАЗЫ

Валентин Махалов. Высокая Грива 3
Анатолий Коротков. Царга . . . 46

СТИХИ

Семен Печеник. Звонарь 44
Сапар Ураев. «Каков ваш край»... Рас-
суждения моей жены. Барса-Гельмес.
Пер. с туркменского В. Баянова . . . 45
Александр Пинаев. «Рябки! Пус-
тяшные пичуги!»... «Роса на елях»... «Я
нашел в лесу подкову»... «Таежный, в
белой пене перекат» 50
Николай Пискаев. «Я снова о том
же»... «Вчера в московской электричке»...
«Чтобы как-то тебя не обидеть»... . 51
Владимир Романов. Усть-Тула . . 52

ПРОШЕЛ... УВИДЕЛ... РАССКАЗАЛ...

Анатолий Юнонин. К дальнему по-
граничью 53

ВРЕМЯ — ЧЕЛОВЕК — ВРЕМЯ

Михаил Паньков. Мастер сибирского
пейзажа 68

ИЗ ДАЛЬНИХ СТРАНСТВИЙ ВОЗВРАТЯТЬСЯ...

Борис Головин. На земле фараонов 72

СЛОВО — КРИТИКЕ

Михаил Небогатов. Память сердца 80

ВЕСЕЛАЯ МИНУТКА

Владимир Матвеев. Биологическая
особь. Куриные пересуды. Классический
пример. Находчивый завмаг. Рыцарь на
час. Эволюция в архитектуре. «Космиче-
ская» басня 33

Редактор
В. М. МАЗАЕВ

**РЕДАКЦИОННАЯ
КОЛЛЕГИЯ**

**А. Абрамович,
Е. Буравлев,
А. Волошин,
Г. Емельянов,
Н. Зеленин,
В. Махалов,
О. Павловский (отв.
секретарь)**

Адрес редакции: Кемерово,
Советский пр., 94, тел. 6-85-14

Рукописи объемом менее пе-
чатного листа не возвра-
щаются

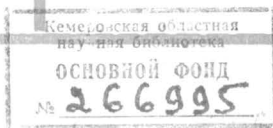
Ведущий редактор Т. МАХА-
ЛОВА. Технический редак-
тор Г. АДОВА. Корректор
Т. ТРУСОВА.

Сдано в набор 17.VII-1970 г. Подписано к печати
20.X-1970 г. Формат 70×90¹/₁₆. Бумага типо-
графская № 1. Усл. печ. л. 6,14. Уч.-изд. л. 8,45.
Тираж 5000. ОП00046. Цена 30 коп. Заказ 5260.

Кемеровское книжное издательство
Кемерово, Ноградская, 5.

Полиграфическое объединение «Томь»
Кемерово, Ноградская, 5.

4-3-2
34M70



ВЫСОКАЯ ГРИВА

Повест ь

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Помню себя совсем маленьким. Лет семи, не больше. Мы лежим на полотах в избе моего закадычного дружка Паньки. Дома, кроме нас, ни души. Родители Паньки уехали на воскресный базар в Шимонино. Сказали, что вернутся только в понедельник к полдню.

Домовничала в это время моя мать, которой, уезжая, Рохмистровы наказали вести догляд за хозяйством. Управлялась она проворно. Подоила корову, задала ей корма на ночь, отделила от нее в хлев годовалого телка Белолобыша, потом принесла в избу две охапки ядреных сосновых поленьев. Уходя, сказала:

— Печку на ночь истопите сами. Не маленькие, чай. Только избу не запалите да не угорейте.

Когда мы остались одни, Панька выгреб кочергой золу из старой с потрескавшимися боками печки-буржуйки, набил ее до отказа дровами, зажег подсунутый под них виток бересты. Через минуту в печке загудело пламя. Выждав, когда загорбок буржуйки накалится чуть ли не докрасна, мы стали класть на него нарезанную ломтиками сырую картошку. Это была любимая наша еда. Прожаренные ломтики приятно похрустывали на зубах. Мы ели их, обжигаясь от торопливости.

Вволю наевшись и разомлев от жары, мы захотели спать. Печка еще как следует не протопилась, а мы уже забрались на полати. Панька перед сном на минуту соскользнул вниз, прикрутил почти до отказа фитиль семилейнейки — керосин матка велела беречь. Сразу стало темно и немного мутрно. Тепло от печ-

ки еще не подступило к полатам, и я запасливо нахлобучил на себя стеганное ватное одеяло. Панька лег с края, как хозяин избы. Чтобы не скатиться во сне на пол, подложил сбоку горбом старую шубу.

Чуть покачиваясь под жестяным абажуром, желтеет пятно угасающей лампы, на лавке посверкивает зелеными глазами кот Мурзик. Тихо так, что слышно, как шуршат в щелях тараканы, мелко позвякивает в печи заслонка. Это в трубе гуляет ветер. Панька еще не спит. По-стариковски побряхтывая, он то и дело ворочается с боку на бок.

— Панька, а, Панька, — спрашиваю я. — А ты страха боишься?

— Чево бояться-то, — храбрится Панька, подвигаясь ко мне.

— А дедушку-соседушку видел? Какой он?

— Черный, с лохматыми руками, — глухо из-под одеяла отвечает Панька. Он пугает меня, хотя и самому ему страшно. Смекнув это, я хочу сказать Паньке: «Уйду вот домой, и трясись тут один». Но он опережает меня, спрашивает сочувствующе:

— Боишься, да?

И, не дожидаясь моего ответа, говорит:

— Вот наша бабка Дарья один раз страху поднатерпелась, это да. Она в те поры девкой была. Отчим ее в Костярово ночью за самогонкой послал. Пьяной был, леший...

Бабки Дарьи давно нет в живых. От этого страшно еще больше. Я замираю от жуткого предчувствия, почти пере-

стаю дышать, а Панька продолжает молотить дальше:

— Бежит она по темному лесу, ног под собой не чувствует. Повернула бы назад, да бабкиного гнева боится. А тут как раз дождик ливанул, ее до нитки вымочил и дорогу всю испоганил — лыва на лыве. Рассветать уже начало, как она к Костояровскому полю подходить стала. Вышла из лесу и вдруг видит: на дороге мужик сидит. Кругом мокро, а он на сухом сидит и листок осиновый в руках сучит. Ноги поперек дороги вытянул. Подобрала Дарька подол до по мокрети ноги эти давай обходить. А сама — в чем душа держится, совсем заморочило. Ноги-то у мужика длиннющие, будто жерди, всю дорогу заслобонили. Едва обежала. Думала, пропадет. Хорошо, что костояровские мужики на покос такую рань шли. Увидели ее растрепанную, сумасшедшую всю, сами перепугались. Думали, беда какая стряслась али пожар где. Поняли, что не ладно с девочкой, а почему — так и не дознались. Дарька тогда чуть и вправду с ума не свихнулась. До старости лет после этого в лес ходить боялась...

Панька замолк. А я, похолодевший от страха, с головой забрался под одеяло, утих так, будто меня вовсе не было. Панька позвал меня:

— Васьк, ты што? Сном, што ли, тебя сморило али от страха зашелся?

Я не откликнулся, притворился будто уснул...

Когда я начинаю думать о своей ранней молодости, я почему-то сразу вспоминаю Паньку и вот этот малоприметный случай из нашего милого детства, с которого я и начал свой рассказ. Потом память подсказывает мне одну за другой новые детали довоенной деревенской жизни. Из них потихоньку лепится образ далекого и неповторимого мира, в котором мы тогда жили, из которого одному из нас суждено было выйти для продолжения жизни, другому умереть.

Умирал Панька. Панька, Павел, Павел Петрович. Впрочем, что я: он никогда не был Павлом Петровичем. Просто он не успел им стать.

Вдвоем с Костей Семиным мы несли его худое длинное тело в деревню. Несли попеременно, хотя до деревни было всего полверсты.

Паньку, истекающего кровью, нашли павлухинские ребятишки. Нашли в маленькой рощице среди молодых, одетых в светлую зелень березок. Лежал он на

самом виду, там, где расходились две тропы — Ягодная и Грибная. Одна вела на Кругленькое болото, другая — к заброшенному скипидарному заводу, по соседским гривам которого всегда росло великое множество белых грибов, маслят и рыжиков.

Мы догадывались, кто выстрелил в Паньку. Сколько нам помнилось, бандитов в наших тихих местах не было. Да и ружей на всю деревню было два-три, не больше. Только один Горбач мог сделать это. Он ненавидел Паньку. Два года назад, когда Горбача забирали в тюрьму, он пригрозил нам:

— Выврись — убью!

Эта угроза больше всего относилась к Паньке. Он случайно наткнулся на Горбача глухой сентябрьской ночью, когда тот пробирался огородами к своему дому с мешком пшеницы. На следующий день об этом знали я и Костя Семины, с которым мы водили дружбу. А потом и всей деревне известно стало, что Горбач потрошит колхозный склад. Кладовщик, хромой и молчаливый Кирилл Важнев, о ночных проделках Горбача духом не ведал. Важневу верили. Он был мужиком честным и с таким варнаком, как Горбач, никогда бы в сговор не пошел. Выходит, подобрал Горбач к складу свой ключик.

Горбача не любила вся деревня. Приехал он в наши места лет десять назад. Откуда-то с Керженца. Приехал со всем скарбом, с молодой женой и шестилетней дочерью Тоськой. На наших мужиков он не походил ни одеждой, ни обликом. Справный, хотя и поистертый, суконный пиджак трещал на его широких плечах, по багровой короткой шее клубились густые рыжие волосы. На широкоскулом лице прилепился большущий нос, похожий на сапог с надломленным голенищем. Потому и приросла сразу к приезжему кличка Горбач. Сначала так его звали заглазно, потом не стеснялись говорить это слово и при нем. А о том, что он Егор Ветров, постепенно забыла вся деревня.

В колхоз Горбач не вступил. С работой ему подфартило. Умер лесник дед Герасим, и он встал на его место. Первые два года жил на лесном кордоне в трех верстах от деревни в развалюхе бобыля Герасима, потом наклеимил лесу и отгрозил себе дом-пятистенок на самом краю деревни, поставив его чуть ли не поперек дороги в Павлухино.

Мужики поматерились по себе, но

супротив не пошли. Пусть, мол, потешится человек, коли охота. Простора в нашей Дубовке хватает, дом новый ставь, где душа пожелает. Что касается дороги, то она пошла в обход лесниковых хором.

Хозяйство у Горбача было крепкое. Худа не скажешь, к дому своему он радел. За два года лесничества обзавелся хорошей коровой, держал двух бычков, первотелку и трех поросят, имелась и другая живность помельче. С покосами в Дубовке испокон веку плохо, места наши то болото, то угорье, заливных лугов совсем мало. Но Горбач и этим был не обижен. В лесу он всему голова, по низинкам да полянкам сена накашивал с избытком. К весне, когда с кормами особенно туго, продавал он стожок-другой бедствующим колхозникам. Цены непосильной не заламывал, но и себя, конечно, не обижал. Одно не ладно — никогда не давал Горбач возможности повременить с платой, требовал прямого расчета. А в крестьянском деле такое не всегда сподручно: большие деньги в хозяйстве случались не часто — от приработка до приработка.

С вырубкой ехал Горбач в район, покупал там кое-какую одежонку, остальное пропивал до последней копейки. И даже случалось такое, что залезал он в ту пору в долги к самогоннице Клане, бедовой бабе годов тридцати, живущей незамужно.

Пил лесник не часто. Но в пьяные свои дни нагонял страху на всю деревню. Еще молодой, могучий, он пил самогон, как воду. Даже четверть Кляниного первача не могла свалить его с ног. Отбравничав, чуть пошатываясь он сходил с резного крылечка Кляниной избы и шел домой, в свой край деревни, по внезапно притихшей улице. Обычно смурное лицо его раздирала пьяная торжествующая ухмылка:

— Што? Попытались, гниды болотные. Мужички-дубовички, крысы подподольные!

Хриплый голос его то и дело срывался. Будто непрожеванный комок злости застревал у него в горле, и тогда слова его переходили в сплошное бульканье и шипенье. В такое время он был особенно страшен, и плохо бывало тому, кто попадался ему тогда на глаза.

Стихал он возле дома Митрия Воркунова, которым был бит однажды при народе.

На Митрия Горбач наскочил по пьяно-

му делу. Тот не уступил ему вовремя дорогу, и Горбач двинул его в ухо. Ударил не всерьез, как бы шутейно, но шапка Митрия отлетела далеко в сторону и сам он едва устоял на ногах. И тут случилось неожиданное. Кривоногий, присадистый Воркунов, поплевав в кулак, ахнул со всего плеча в заросшее рыжей щетиной лицо Горбача и тот тяжело осел в грязную канаву. Из рта его медленно поползла темная струйка крови. Знать, не зря ходили про Митрия Воркунова слухи, что мог он в молодости дюжить в драке против двух, а то и трех парней-одногодков.

Через три дома от Воркуновых жил Панька с матерью и маленьким братом Ваняткой. Отец Паньки, дядя Петр, погиб на войне с белофиннами. С тех пор остался шестнадцатилетний Панька в доме за хозяина. Мать Паньки то и дело хворала, так что все заботы по дому доставались ему. Летом он сенокосил, заготавливал на зиму дрова, менял drankу на старой прогнившей крыше, следил за Ваняткой, который нет-нет да и норовил ушагать в лес. Зимой забот не убавлялось. Так что о учебе и думать было нечего. Чтобы как-то содержать семью, на зиму подрабывал в колхоз конюхом. Лошадей Панька любил, ухаживать за ними не считал в тягость. Да и трудодни за эту работу колхоз хорошие начислял. И хоть небогат был в те времена трудодень, но кормиться было можно.

Все успевал делать Панька. Может, потому, что характером был веселый да и сноровкой в любой работе его бог не обидел. За что ни возьмется — все делает впрок.

Работы по конюшне да и по дому у Паньки всегда было в достатке, но ухитрялся он выбрать время еще и на то, чтобы погулять до первых петухов со своей милкой Тосей Горбачевой. Никуда не делась Тося от прозвища своего отца, пристало оно к ней на деревне будто фамилия. Ветровой ее только учителя в школе звали.

Не заметил Горбач, как заневестилась его дочка. Давно ли сопли по щекам размазывала, а тут, на тебе — совсем девкой выглядит. Глазища темные, греховодные, румянец во всю щеку. Да и телом вышла, ядреная вся, как дыня скороспелая. Дубовские холостяги и те на нее глаза палить начали, а уж от ровесников совсем отбоя не стало. На вечерках да гулянках то один, то другой

парень приударить за ней норовит. Пробовал ухлестнуть за Тоськой Коляка Варнаков, дубовский гармонист, известный на всю округу шалопут и модник. И у этого, кроме сраму, ничего не вышло. Отшлепала его Тоська по роже принародно за то, что выхвальный он перед парнями, будто ходила она с ним по ночам в овин. Благо еще, Горбач о его похмельном трёпе ни сном, ни духом не ведал, а то не миновать бы Коляке мужичьей таски.

Но пришла пора и Тоськиной любви. И вышло так, что выбор красавицы Горбачевой дочки выпал на Паньку Рохмистрова. Чем он ей приглянулся — неведомо. Парень как парень, лицом не Иван-царевич, вот разве что ростом удался да нравом веселым. Но как бы то ни было, пришлись они по душе друг другу. И с той поры загуляли по ночам вопреки родительской воле.

Не хотел Горбач такого зятя. И хоть было парней в Дубовке не богато, мнил леснику для дочки другой человек с образованием, с добрым достатком. Паньку он считал гольтыбой. И каждый раз, когда напивался пьяным, останавливался Горбач у Панькиного дома и не было конца его пьяным ругательствам и насмешкам. Но хоть и грозился лесник раскатать по бревну «волчье гнездо» Рохмистровых, дальше слов дело не шло. Наругавшись вволю, он уходил домой, а хворающая Панькина мать долго плакала потом, проклиная злых людей и свою неудачливую жизнь. Панька, нахохлившись, как ястреб, сидел молча, уперев острые локти в щелястый стол. Горькая обида копилась в его душе.

А вскоре выплыла на свет история с пшеницей. Из района прибыл милиционер с наганом в брезентовой кобуре и пожилой, с невыспавшимся лицом следователь.

Дознание велось недолго. Часа через три от сельсовета отъехала подвода, в которой между милиционером и окончательно уснувшим следователем сидел Горбач в старом нагальном тулупе, надетом прямо на сатиновую рубашу с глухим воротом. В голове телеги с опущенными вожжами в руках примостился сухонький дед Мокей, глава гужевого колхозного транспорта, под начальством которого работал эти зимы Панька. Мокей откровенно важничал. Можно было подумать, что это он уличил Горбача в воровстве колхозной пшеницы, он указал преступника и от него зави-

сит, как-то повернется это дело дальше.

Почти вся деревня вышла поглядеть, как будут увозить Горбача. Жалели его немногие, да и те больше по старой привычке: раз, мол, забирают в тюрьму человека, надо сочувствие ему оказать. Всяко там, в тюрьме-то, бывает, может, обратно и не возвратится. Жалели Горбачеву бабу, которая, как и полагалось в таких случаях, исходила в плаче, призывала на помощь божье милосердие.

Тоська провожать отца не вышла. То ли перед людьми было стыдно, то ли просто не хотела видеть его в эти минуты. Но дубовские бабы истолковали этот ее поступок по-своему. Решили, что Тоська приняла Панькину сторону, потому что кто-то из баб сказывал, будто на прощание отхлестал Горбач Тоську вожжами.

Суд обошелся с Горбачем мягко. Дали ему всего три года отсидки. Пока разбиралось дело, жена его два раза ездила в район. В Дубовке говорили, что пыталась она всучить судье взятку. Кто знает, может, это была и сплетня, но ведь зря говорить не станут...

Панька прошел по суду как главный свидетель. Прокурор хвалил его за смелость и преданность колхозному делу, в то время как Горбач зыркал на Паньку покрасневшими от бессильной злобы глазами.

В ту осень только и было разговору в Дубовке, что о Горбаче. Бабы судачили и о том, как теперь будет ладить Панька с Тоськой. Думали, что кончится на этом у них любовь, как-никак отца родного у девки в тюрьму утек.

Но вышло все по-другому. Не смогла разлюбить Тосю Паньку. Еще больше он стал мил ее сердцу. Не боясь людской огласки, все чаще она стала забегать в Панькин дом. Ухаживала, как родная дочь, за его хворой матерью, часто управлялась по хозяйству. Правда, старалась это делать, когда Паньки не было дома. Так велел деревенский обычай. А его у нас в Дубовке блюли свято.

Прошла зима. А весной, когда совсем потеплело, умерла Панькина мать. Опустело в доме Рохмистровых, осиротело. Совсем исхудал Панька в эти дни, посуровел, куда девалось его веселье. Кабы не Ванятка да Тося, уехал бы он из Дубовки куда глаза глядят. Так ему безрадостно стало жить на этом свете.

Но все ярче светило солнышко, отходила под его теплом земля, на взгорках

проклонулась первая трава, зацвели подснежники. И отошло горемычное Панькино сердце. Снова улынулся он маленькому несмышленьшу Ванятке, подобрел к Тосе. Весна и молодость взяли свое.

ГЛАВА ВТОРАЯ

Наша Дубовка деревня даже по здешним местам невеликая. Всего дворов сорок. Крытые тесом и фигурной дранкой дома ее жмутся к заросшей ольхой и осокой пойме речки Елдежик, которую в засушливую пору может перешагнуть пятигодовалый ребенок. Старики наши говорят, что был когда-то Елдежик уж если не большой рекой, то заметной речкой. И рыбы в нем было привольно и для малых ребят раздолье — вода чистая, песочек по берегам сахарный. Не купанье — одно удовольствие. И сейчас еще от старого Елдежика остались щучьи омута, затянутые травой-мокрушей да желтым зыбучим илом. Бывает, и теперь достают из них бреднем жирных и широких, как лапти, линей и зубастых щук в коричневых болотныхakraпах. Но такое бывает редко. Если и случится, то долго потом дубовские ребяташки хвастают друг перед дружкой:

— А в прошлом годе тятка мой с Никандрой кривым во какую щуку вытягнули!

Благо, у ребят руки короткие, а то была бы эта щука длиной с дядьку Гордея, самого тощего и высокого мужика в Дубовке.

Если и есть какое богатство в наших краях, так это леса. Совсем недалеко отодвинуло их от деревни колхозное поле. Стоит дороге перескочить через Марьин лог, и сразу начинается темная глухомань.

Высветляют ее только редкие болотца да вырубки, да еще полянки, заросшие малинником и колючим можжевельником, усыпанным жесткой сизой ягодой. А на болотах заваль клюквы да черники, на угористых мшистых островках пышные кусты в ногу большого паллада крупнотой ганаболи, сытной, немного кисловатой северной ягоды. Ганаболь ягода не компанейская, гуртом не растет, потому и нет за ней промысловой охоты. Берут ее больше в рот, чем в лукошко.

Главная промысловая ягода это клюкwa. По осени наши бабы за ней то и дело шастают. Собьются в косяк из пяти-шести душ, заводилу выбирают из тех, что все удачливые места знает, кузовки за спину забросят и айда на болото. Клюкwa ягода дорогая, в городе ее пылко берут. Вот и волокут клюкву бабы в город на продажу. Кто мешок, а кто и больше. Выручку через это неплохую имеют.

Но не от ягоды наша деревня прибыль получает. Испокон веку славятся дубовские мужики мастеровым ремеслом. Всю округу снабжают они лопатами, басками коромыслами, корытцами долблеными да топориками. И нет им в этом деле равных. В каждом нашем доме обязательно плотничий угол есть. Верстак стоит, а на нем в строгом обиходе инструмент — рубанок, скобель, стружок, нож лопатный со второй деревянной круглой ручкой, насаженной на конец острия. Этим ножом плечи у лопат нарезают, легкий узор на шейке делают. Таким ножом бриться можно, его настоящий плотник пуще глаза бережет. И работать им сподручно. Упрет плотник лопату одним концом в верстак, другим в грудь себе, возьмется за обе ручки ножа и одним ловким вывертом плечо лопате выправит, еще разок ножом крутанет — другое плечо готово. Потом прицелится глазом и последнюю доводку сделает: плечи подравняет, лопасть оформит — и, глядишь, не лопата — игрушка получилась, в руки сама просится. Так что нож этот в плотницком деле, почитай, заглавный инструмент.

К лопатному ремеслу в Дубовке с детства приучают, потому что им семья кормится. Мужик, который поспоровистей, может полсотню лопат за сутки выгнать. Поработает он так с недельку и, хоть умается порядком, зато полную баню лопатами набьет. Затопит его баба баньку мозглявыми с сыринкой дровами, чтобы дымку и копоты больше было, и, гляди, через день-другой укладывает мужик в розвальни пачки готовеньких прокопченных лопат по двадцать пять штук в каждой вязке. Везет их в кустарную артель. Продаст лопаты артели по государственной цене, выручит деньги, и гульнуть тогда не грех. Хорошие плотники в Дубовке хоть и выпивают частенько, но живут справно.

Есть у наших дубовских и другое ремесло — резьба по дереву. Но мастеров таких в деревне совсем мало, чело-

века два-три всего. Им у нас особый почет и уважение, а в праздник первая чарка водки. И все потому, что мужики эти при строительстве новых домов первые люди. Они обличье и красоту домам дают, узорочье по всему фасаду наводят. Крылечко фигурное, баское, наличники вырезные с птахами разными, оборочки под крышей из кружев замысловатых— это их рук дело. В том, что в нашей Дубовке дома ладные да веселые, их заслуга.

Тятя мой, Прохор Петрович, тоже этим рукоделием владел. Меня пытался приучить, но душа моя лежала к другому. А без души за это лучше не браться. Поворчал тятя на мою неспособность к дивному своему ремеслу, но мою охоту к книжкам перебивать не стал. Ученость у нас в семье уважали. Сам тятя гордился, что церковно-приходскую школу кончил, что грамоте и чтению книг обучен. Бывало у нас даже такое: соберется семья вечером, смотришь, тятя за стол книжку тащит или газетку районную «Колхозная победа», я ему тоже норовлю не уступить. Но тут уж мама вмешивалась, случалось, что тятиня газета летела пополам, а мне по молодости греха перепалада увесистая затрещина. Тятя в таких случаях возражал редко да и меня наставлял женский труд и старанье уважать.

А ученика себе тятя нашел. Им стал Панька. Учил его отец сначала не очень охотно: чужой все-таки, но потом обвыкся и смотрел на Паньку как на родного сына, особенно с той поры, когда он в сиротстве остался. Сядет, бывало, тятя на низенький, обтянутый лосевой кожей табурет, возьмет сырой березовый ошепок, приладится к нему со своим нехитрым инструментом и в короткий момент такой узор на нем выведет, что диву даешься. А Панька рядом сидит, другой ошепок терзает. Лоб взмокнет, а от тяти норовит не отстать. Так у них дело и сладилось.

Я тогда девятый класс заканчивал. Дома бывал редко. Только по праздникам. От села Шимонино, где я учился, до нашей Дубовки почти двадцать верст. Летом пешком или на попутном лесовозе, зимой на лыжах каждую неделю домой добирался.

Учился я в средней школе из нашей деревни один. И опять же благодаря тятю. Достаток у нашей семьи не ахти какой, но все же средств на мое обучение отец не жалел. А надо было много

чего. Интернатов в те времена при школе не было, приходилось расходоваться на квартиру да и за то, что харчевался у хозяйки, надо было приплачивать. Правда, тятя основной продукт завозил мне в Шимонино на всю зиму: вдоволь картошки, огурцов и грибов соленых, а когда под первый снег кололи боровка, то выделялся мне пай сала и мяса. Так что жил я в Шимонино в общем-то сытой, можно сказать, вольготной жизнью.

Зато летом я отрабатывал свою школу. Вместе с Панькой, Костей Семиным с другими сверстниками уходили мы на месяц, а то и больше в соседний леспромхоз на сбор живицы.

Леспромхоз в наших местах появился недавно, размах в его работе еще не чувствовалось. Почти полгода строили дорогу для лесовозов, нарезали деланки, клеймили лес. Попутно занимались заготовкой живицы. Весь строевой сосняк возле Дубовки, Павлухина и Костоярова в короткий срок запестрел узорами в виде «елочки». Острым металлическим желобком, закрепленным на метровой палке, — звали эту штуку хаком, — нарезались на стволе усики. Усики сходились на глубокой продольной ложбинке, по которой и стекала сосновая смола-живица. Живица копилась в жестяных козырьках, закрепленных в самом низу ложбинки.

На первых порах дубовские мужики не думали, что леспромхоз принесет какое-то зло для деревни. Скорее всего они видели в нем прямую выгоду. Как-никак, дорогу машинную, хоть и плохонькую, до райцентра наладили. Теперь туда на базар выскочить или еще по какой нужде половчей стало. Кроме того, многие сразу смекнули, что колхоз трудоднем платит, а леспромхоз деньгами. И потянулись в него на заработки. Особенно те, кто помоложе.

Для колхозного председателя Федора Маслюхина леспромхоз стал чуть ли не личным врагом. За один только год он отобрал у него больше десятка молодых колхозников, почти пятую часть наличного состава. Пробовал Маслюхин урезонить беглецов на общем собрании, а те или совсем не приходили на такие собрания, или, придя, всячески кобенились при честном народе, хулой да усмешками подрывали его председательский авторитет, а иногда, как выражался Маслюхин, и самую суть колхозного строя. И напрасно председатель угрожал отщепенцам всеми карами небесными и

даже судом, повернуть их с отходной линии так и не смог.

Посоветовавшись с правлением, решился было он пойти на крайнюю меру — урезать земельные их наделы. Но выделенная на это опасное дело комиссия позорно оставила поле боя при первом же своем практическом действии. Дядька Гордей, у которого дочь Дуська подалась в приемщицы живицы, так наладил Маслюхинскую комиссию со своего огорода, что на этом ее деяния и закончились. Все члены ее наотрез отказались от новых попыток возбуждения народного спокойствия. Да и сам Маслюхин не сдавался только до той поры, пока все тот же Гордей Мальцев не навострился идти в район с жалобой на председателское самоуправство.

Хоть и с опозданием, но Маслюхин смекнул, что нарушает устав колхозной артели. Право пользования полным земельным усадом по закону имела любая семья, в которой числился хотя бы один колхозник. А таких семей, которые бы целиком ушли из колхоза, в Дубовке пока не было.

А слово леспромхоз потихоньку входило в обиход. Потому как расположился он от Дубовки не в самых дальних краях, то туда все чаще стали наведываться. То за хлебом, то еще по какой хозяйственной нужде. В леспромхозе, кроме десятка барачков, построили хороший магазин, открыли свою пекарню. Рабочих в леспромхозе пока было мало, а пекарню делали с расчетом на будущее, поэтому излишки выпеченного хлеба уходили на сторону, в соседние деревни. Товары в леспромхозовский магазин тоже завозили ходовые, добротные, так как был этот магазин поближе к райцентру и снабжался получше.

И в этом разе открытие леспромхоза для дубовских уже принесло свои выгоды. Еще большие выгоды сулило будущее.

Впрочем, насчет будущего с его недалеким благом кое-кто у нас в Дубовке думал и по-другому. Все тот же старый Мокей как-то при общем разговоре высказал такое суждение:

— Помните мое слово, не будет нам добра от этого леспромхоза. Произведет он, окаянный, наши леса, а на голом месте какая жись.

Кто-то из мужиков поддержал деда: — Знамо дело, произведет.

Мокей обрадовалась поддержке и произнес речь против надвигающегося на

Дубовку прогресса. Речь эту слушали четыре мужика, пяток баб, Гордеева свинья Хрюшка да бабка Авдотья, которой Мокей приходился по родству мужем.

— Скоро, бают, болото сушить будут, торфу искать, — заговорил Мокей важно. — Торфой энтой будто печи топить можно.

— А што тебе болота жалко, пусть копают. У нас болот вона сколько, — встряла Авдотья.

Мокей, хоть и побаивался своей старухи, но тут сорвался с поводка:

— А если оне, курья твоя башка, ягоду всю изничтожат вместе с торфой-то, а?

Бабке крыть было нечем, она смолкла. А Мокей, уже без помех, закончил свою речь:

— В районе мне сказывали умные люди, что рядом с Дубовкой богатства большие скрыты. Это лес, значит, и торфа. Так вот, понагрянут сюда с машинами и все как есть вывезут на улучшение городской жизни. А нам за наше добро — кукиш с маслом. Сделают это тихо-мирно, самих нас в помощь позовут. Обкрадут и тью-тью. Для начала леспромхоз вот учинили. Он лесок наш к рукам прибирает, клейма свои везде понаставил, а мы рты раззявили — рады.

Три десятка лет прошло с того тихого довоенного времени, когда держал дед Мокей свою речь при народе. И горько мне сейчас оттого, что сбылись многие дедовы пророчества. Правда, эту самую «торфу» до сих пор из наших мест не вывезли. Торфоразработку решили начинать только сейчас. Да и то верстах в тридцати от Дубовки. Болот-то у нас, как говорила Авдотья, кругом хватает. Чего доброго, а болот много. И клюквы в них по-прежнему в достатке.

А вот леса вокруг Дубовки, как и предрекал дед, поизвели. Теперь дорога в Шимино и впрямь по голому месту идет. Одни вокруг пеньки да буреломина, заповоженная иван-чаем да низкорослым малинником. Ни деревца какого стоящего, ни прохлады лесной, ни привольного грибного удовольствия. А ведь раньше наши места глухоманью считались.

Изводил леспромхоз наш приветливый добротный лес без поглядки на день завтрашний. Планы выполнял с походом и выдвинулся потому в передовые. А о будущем леса даже мысли не держал. Молодняк-то у нас хватились насаждать только в последние годы. Да и то это де-

ляли кое-как, директиву спущенную выполняли. Поднялся этот соснячок сейчас чуть выше роста человеческого, до сих пор еще старый грех прикрыть не может. Жди-пожди, когда он в настоящий лес образуется, а пока живи старой памятью.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

У околицы деревни, считай, уже в самом поле, стояла старенькая кузница. В летнюю пору она начинала токовать на самом рассвете, когда еще ретивые в домашнем хозяйстве дубовские бабы не заводили свои бесконечные хлопоты. Что поднимало чуть свет колхозного кузнеца Дениса, мне и по сей день неведомо. Хозяйство колхоза было невеликое, больших забот не требовало. Телегу починить, подковать лошаденку — вот и вся недолга. Механизации в те годы никакой, землю пахали конным плугом, изредка в помощь прибывал из района трактор марки «универсал», дня три-четыре елозил по полю, а потом притыкался к той же кузнице на ремонт.

Денис тогда сразу как-то преобразался. Вместе с трактористом он часами возился у испутившего дух «универсала», налаживал его распатанный организм. В эти минуты он чувствовал себя не столько кузнецом сколько механиком, могучие руки Дениса были вконец переплаканы в мазуте, и это приносило ему счастье.

После ремонта он сам вставлял заводную ручку и крутил ее так, что передок трактора подергивался от его жестоких рывков. Чаще всего это яростное кручение продолжалось с час, а то и больше. «Универсал» сердито пофыркивал, но не заводился. Наконец, не выдержав очередного отчаянного рывка Дениса, он окутывался густым дымом и оглушающим грохотом. Молоденький чумазый тракторист, которого второй год подряд присылали в наши места, рвал почти что наугад рычаги и переключения, стараясь удержать трактор в рабочем состоянии. Когда это ему удавалось, он не слезая с сиденья, подавал Денису на прощанье руку и торопливо выруливал на дорогу в Шимонино. И напрасно тогда подскокивший на сатанинский грохот Маслюков изрыгал ему вослед свои председательские проклятия, «универсал» на лучших своих скоростях удирал в район подальше от греха и от твердой,

замешанной на подзоле и песчанике, дубовской землицы. И только Денис, будто не слышал ругани Маслюкова, грустно смотрел в согнутую спину удирающего тракториста и, видать, сочувствовал ему, нутром понимая, что толку от этой техники не больше, чем от старого колхозного меринка Пирата.

Денис был нашим общим любимцем. Еще малыми ребятишками мы частенько пропадали целыми днями возле его кузницы, копались в золе и железной гари, выискивая голубоватые шарики пузырчатого плавленного железа. Этими шариками мы стреляли из рогаток.

Любовь к Денису и его кузнице не проходила у нас с годами. Денис был добрым человеком, понимал наше ребячье любопытство и охотно позволял каждому из нас вдарить разок-другой тяжелым молотком по раскаленной добела железнине. Он научил нас заводить пламя в горне, и каждый из ребятишек почитал за счастье хотя бы несколько минут пораздывать кузнечные меха, помочь Денису в работе.

Кузнец был самым крепким мужиком в Дубовке. Поговаривали, что по силе вряд ли сыщется ему ровня по всей нашей округе. Несмотря на тридцать с небольшим лет был он широк в плечах и грузен телом. Разговорчив он был только с ребятишками, все дни не вылезал из кузницы и только в праздники иногда приходил к Гордееву дому, садился в мужицкий круг и молчаливо резался в подкидного дурачка.

О силе Дениса рассказывали невероятные истории. Я запомнил одну из них. Удумал он как-то из Костоярова наковальню принести. Больно уж она ему приглянулась. С тамошним кузнецом они столковались. Выставил он тому четверть самогона и заполучил эту самую наковальню. А весу в ней без мала восемь пудов было. Собрался Денис домой, а костояровский кузнец усмехается: когда, мол, товар забирать будешь, на лошади пожалуешь али как?

Ничего будто бы не молвил в ответ Денис, взвалил наковальню на плечо и пошagal к дому. Кузнец ему вдогонку кричит:

— Повремени, Денис, а то пуп сорвешь ненароком!

А тот даже не оглянулся, только наковальню поправил, чтобы на плече удобней лежала.

От Костоярова до Дубовки шесть верст с гаком. И допер-таки эту чертову

штуковину Денис до своей кузни. Но не только этому люди удивились. Дело то весной было. Миколин вражек в разлив ударился, мостик через него смыло. Кто-то из мужиков через него переход из двух жердей сладил для пешего хода. По таким жердям и пустому идти боязно, того и гляди сверзишься. А Денис прошел да еще наковальню переволок. Вот в чем диво-то...

В этот день мы с Панькой заглянули к Денису по надобности. Собирались катнуть в леспромхоз на подсочку или на сбор живицы, как подвезет. Так вот и надумали по этому случаю своим инструментом обзавестись. Знали, что как, выкованный Денисом, будет служить на совесть. Кузнец, узнав о нашем деле, без лишнего слов принялся отыскивать подходящий кусок железа. А мы в это время старательно раздували горн. Через час мы несли домой еще не остывшие наконецники с емким заостренным желобом. Оставалось только насадить наконецник на оструганный черенок, навести жало и хак готов. К вечеру мы уже похвалялись перед парнями своим добротнo сделанным инструментом.

Наша наемная компания состояла в основном из парней моей ровни. Набиралось нас из ближних деревень человек двадцать, а то и больше. Над ними назначали старшего, чаще всего взрослого мужика. Старшой делил нас на две группы: резчиков, которые вели подсочку, и сборщиков живицы. В первую группу попадали ребята покрепче да поспортивистей. И платили им побольше. Зато и работа у них была потрудней, силы требовала и старанья. Из дубовских в резчики проходили двое: Колька Варнаков и Панька. Мне свой инструмент пришлось уступить Кольке, как-никак наш, деревенский, пусть работает.

Никто из ребят на такое распределение не обижался — считали, что старшой все решает по справедливости.

Ранним утром, позавтракав картошкой-толкунницей, ушли мы в лес. В землянке-кладовке Дуська Мальцева, Гордеева дочка, выдавала нам инструмент: хаки и большущие, перепачканные смолой, жестяные ведра. После короткого перекура расходились по своим делянкам.

Мне на делянку повезло. Во-первых, она была совсем не далеко от кладовки, всего в полсотне метров, во-вторых, находилась в низинке, где сосны росли посмолистей. За три дня живицы в ко-

зырьки набегало сверхом. Меньше чем за полчаса я успевал наковырять полное ведро, в то время как у других, кому делянки достались похуже, на сбор ведра уходил час, а то и больше, хотя они и старались всю. Так нечаянная удача вывела меня в передовики и заработок мой стал даже лучше, чем у некоторых резчиков.

Меньше всех собирал живицы Матвейка, сын кладовщика Важнева. Участок ему достался дальний и, как мы говорили, подсушенный. Матвейка, намаившись за день чуть ли не пуще всех, добывал три, а в лучшем случае четыре ведра живицы. Он молча носил наשמешки товарищей и лез из кожи, чтобы не стать хотя бы самым последним. Но это удавалось ему редко.

Так прошла неделя. И вот однажды за Матвейку вступился Панька.

— Это не по-честному, — сказал он. — Матвейка старается не меньше других, а заработок у него никудышный. Это разве дело?

Мы молчали. Только старший недовольно буркнул:

— А ты чево предлагаешь, Рохмистров? Может, делянками меняться? Будете бегать, как слепые котят. Ешшо, черт дернет, заблудитесь. А мне — за план отвечай и за вашу милов?

Панька перебил старшого:

— Осваивать делянки заново, конечно, резона нет. Надо бы Матвейкин участок обходить всем сразу, с одного захода. Остальное время Матвейка будет работать с каждым сборщиком по переменке.

Панькино предложение не всем пришло по душе. Боялись путаницы. А коекому просто не хотелось терять на этой затее лишний рубль. Потому долго спорили.

Выждав, когда шум поутих, старшой подвел итог:

— Пусть будет так, как толкует Рохмистров. Испыток — не убыток.

Матвейка в нашем разговоре не участвовал. Он сидел, прислонившись к дереву, на опрокинутом кверху дном ведре и пухлые щеки его заливал жаркий, прямо-таки девичий румянец. Он был не в меру стеснительным парнем, мы, дубовские, это знали, и никогда бы сам не пожаловался на свое невезенье. Заступничество Паньки ему казалось лишним делом и совсем расстроило его.

К вечеру Матвейка засобиравшись домой. Мы поняли, если его отпустить одного, обратно он не вернется. На общем сове-

те решили идти в Дубовку скопом. День был субботний, можно, если поторопиться, то и к баньке поспеть. Да и с харчами мы за неделю поиздержались, а проедать заработанные деньги не полагалось.

От леспромхоза до нашей деревни почти десять верст. Дорога лесная, наезженная, с глубокой, выбитой крестьянскими телегами колеи. После хороших дождей на ней долго держатся глубокие лужи. Твердый, как камень, суглинок совсем не принимает воду, а солнцу просушить дорогу явно не под силу. Не легко ему прорваться через массивную крону старых елей и сосен, стоящих по обе стороны проселка.

За последний год дорогу кое-где построили, расширили ее, чтобы мог протиснуться лесовоз. Сделали два-три объезда на тот редкий случай, если две машины встретятся.

Первые пять километров мы прошли молча, напористо и ходко, боялись припоздать. Солнце уже царапало макушки деревьев, а там, где лес был почаше, поразвесистей, начинали скапливаться вечерние сумерки.

Ночь в лесу начинается почти внезапно. Стоит только скатиться солнцу и сразу наступает тьма-тмущая, особенно в середине лета. И все-таки никто из нас не устоял перед соблазном искупаться в Петрухином омуте. Так прозвали омут в давние времена, хотя дубовские старики и сейчас хорошо помнят мельника Петра, который утонул здесь по пьяному случаю.

Вода в омуте была холодной даже в самую жаркую пору, и чем глубже, тем холодней. Видать, река в этих местах питалась глубинными родниками, и были воды ее здесь темны и неподвижны.

Торопливо скинув пыльную одежду, один за другим мы сгинули в омут, размашистыми саженками плыли на другой берег к самому крутояру, как бы нахлобученному косматой шапкой над водой. И только Матвейка Важнев плескался у берега, присев на корточки. Петрухина омута он попросту боялся. Мы подшучивали над ним, звали его на середку и, сложив ладони лодочкой, обрушивали на него целый водопад ядреных брызг. Здоровяк Матвейка весело отфыркивался и совсем не обижался на наше озорство. Но стоило кому-нибудь из нас зайти к нему со спины, он пулей выскакивал из воды, опасаясь, что мы утащим его в глубину.

А глубина в этом омуте казалось нам неизведанной. Ходили слухи, что павлухинские мужики связывали пять пар вожжей, прицепляли к ним двухпудовую гирию, но дна, будто бы, так и не достали. Еще сказывали, что до революции немцы-колонисты добрались до наших глухих краев и построили рядышком с омутом мост, по нему проходила узкоколейка от Шимонина до химического завода, что когда-то был возле Дубовки. Заводом владели немцы, гнали из смолья деготь, а заодно наладили и скипидарное дело.

И вот мост у Петрухина омута однажды обвалился. Обвалился, когда по нему проходил паровоз с вагончиками. И теперь все железо лежит на дне омута. Немцев это ввело в большие расходы, но они не захотели бросать выгодное дело. Наладить же мост снова не успели, помешала революция.

Этим слухам мы верили, потому что и в наше время нет-нет да и находили на заброшенной насыпной дороге обломки ржавых рельсов от узкоколейки. Да и развалины скипидарного заводика в трех верстах от Дубовки сохранились и поныне, напоминая нам о не очень далеком прошлом...

Купанье начисто сняло усталость, остаток пути мы шли балагурия, пели заливчатские самодельные частушки. Даже Матвейка развеселился и с охотой соглашался на будущей неделе снова пойти на заработки.

Уже совсем свечерело. В темном и гладком, как сатин, небе стали посверкивать первые звезды. До августовских хлебозоров оставалось не так уж и много дней, потому июньские темные ночи как бы наслаждались своей короткой радостью.

Перед самым выходом из леса на поляне возле Высокой Гривы мы увидели два небольших костра. Поначалу подумали, что ребяташки затеяли баловство и запалили теплыни недалеко от деревни. Но, подойдя поближе, стали различать повозки с привязанными к ним лошадьми, сидящих у огня людей.

— Цыгане припылили, — почему-то шепотом сказал Костя Семин.

И от этого шепота стало загадочно и немного тревожно.

Цыгане для наших мест были вообще-то не в удивление. Почти каждое лето их суетливый, наполненный вечным гомоном табор набегал в наши края. Случалось это чаще всего поздними вечерами,

Как они появлялись, никто никогда не видел. И только утром, когда скотина уходила на выпаса, узнавали об их присутствии. Доносили о цыганах ребятишки. Те, кто посмелее, успевали к тому времени побывать в самом таборе. Цыгане их встречали приветливо, иногда даже баловали леденцом или замусоленным пряником. Если табор попадал к нам первый раз, то хитрые цыганки выведывали у ребятишек все, что могли те знать о нашей деревне и ее людях. Если же табор бывал здесь годом или двумя раньше, собирались самые последние новости, кто куда уехал или должен уехать, кто заколол поросенка к ближайшим праздникам. Узнавали цыганки у ребятишек и о таких вроде бы мало-значущих делах: с кем теперь гуляет Дуська Мальцева, за кого собирается замуж девка-перестарок Марютка Зеленова, стелная ли в этом году корова у бабки Попихи. Да мало ли что могли выведать цыганки у словоохотливых ребятишек.

А где-то после полудня разлетались длинные цветастые цыганские подолы по всей Дубовке. И удивленно ахали глупые дубовские бабы от вещей цыганских речей. Золотила расторопную руку черноокой молодницы с писклявым младенцем на привязи совсем ошалевшая от будущего семейного счастья кривая Марютка; лезла в подпол за салом, охая, то и дело хватаясь за поясницу, скупая Попиха, которой цыганка напорочила бычка со звездочкой от стареющей Буренки; таращила на бубнового короля блаженно поглупевшие глаза выпирающая из тесного, сшитого в стан крепдешинового платья, Дуська.

Мы прошли мимо табора, не подавая голоса. Только Костя Семин из озорства тихонько свистнул, вспугнув лошадей и мирно беседующих возле костра цыган. Цыгане залопотали было громче, то и дело оглядываясь вокруг, потом стихли. Один из них неторопливо прошел к повозкам, осмотрел лошадей. На обратном пути цыган прихватил немного хвороста, бросил его в костер. Яркий язык пламени осветил табор.

У самой деревни, перед тем, как разойтись по домам, мы договорились утrocно сходить в табор в гости. Всем хотелось посмотреть, что за цыгане приехали, узнать, надолго ли, послушать их горланые песни, а если удастся, взглянуть на лихие пляски чумазых по-бесовски проворных цыганят.

Один только Панька не откликнулся на наш стовор. Мы, конечно, догадывались почему. Его ждала Тоська, и он сам истосковался по ней за эту неделю. У них с Тоськой было уже все серьезно, и никто из нас не считал себя вправе вмешиваться в их отношения.

ПАНЬКА ЧЕРМЫХА

Первым рассказал мне эту историю Панька. Сначала она мне сказкой показалась, только много позже узнал, что все это произошло в жизни.

Помню тихий вздрагивающий Панькин голос, глаза его печальные и причастные к чужому горю. Теперь-то я хорошо понимаю, что заставило Паньку рассказывать мне о Машеньке Лесной, о ее горькой и озаренной девической любви.

— Жила в наших местах девушка одна, тихая да красивая. Люди ее за доброту и участливость ласково Машенькой звали. Так вот полюбила она парня. Да так крепко, как у человека раз в жизни бывает. И то не у всякого. Парню она тоже приглянулась. Погулял он с ней несколько разочков, запала ему Машенька в душу и надумал он на ней жениться, когда дело к осени подойдет. Ей об этом сказал, обрадовал.

Но не сумел этот парень супротив родительской воли пойти, и когда свадебное время пришло, сосватал другую — из богатой семьи. Как, значит, родители повелели. Узнала про это Машенька, убиваться стала в своем горюшке. Так шибко убивалась, что умом повредилась. И спасти ее было некому, в круглом сиротстве жила. А чужие люди, сколь они ни добры, родную мать не заменят.

В день свадьбы впала Машенька в беспамятство, надела платье белое, подвенечное и в лес убежала. Все думали, что вернется Машенька из лесу, а она не вернулась. Ни в этот день, ни через неделю. Искать ее всем миром пробовали — не нашли. Решили, что сгинула девка. Старухи поминки о ней справили.

Но поздней осенью, когда уже совсем холодать стало, наткнулся на Машеньку дубовский лесник дед Герасим. Грязная вся, исхудавшая, с седыми растрепанными волосами, она мало походила на прежнюю Машеньку. Платье висело на ней лохмотьями, вся в царапинах, с горькими полными ужаса глазами — та-кой увидел ее лесник. А она, заметив

его, с душераздирающим криком бросилась в чашу.

Снова всей деревней искали Машеньку. Нашли на другой день. Ловили ее, как зверя дикого. Два здоровых мужика едва смогли удержать ее. Кусалась она в отчаянье, лицо свое руками царапала. Откуда сила только бралась. Ведь больше месяца в лесу жила. Чем кормилась, одному богу известно.

Переодели ее в деревне в новую одежду, почти силком накормили, она поотощала немного. Думали на другой день в район в больницу увезти. А ночью она убежала. Одежду новую сбросила, старые свои лохмотья разыскала, обрядилась и убежала.

С тех пор ее люди часто в лесу видели. Она даже сама им показывалась, а близко к себе не подпускала. Наши деревенские еду ей на дороге оставляли, одежду и обувь старенькую, чтобы от морозов не сгубла. Еду она брала, а вот от одежды и обуви отказывалась. По снегу босой ходила. В деревню по ночам стала захаживать, холод, видать, загонял. Проснутся утром бабы, а возле окошек по снегу босиком натоптано. Те, кто в нашей деревне в бога верил, ее святой объявили.

Потом пообвыкла Машенька с народом-то, в избы заходить стала. А людей в лицо никого не признавала, память у нее совсем отшибло. Придет она эдак-то в избы, сядет на корточки к печке поближе и так целый час просидит. Не шелохнется, ни слова не вымолвит. А если кто спросит: «Машенька Лесная, куда идешь ты?». То бывало что и ответит: не знаю, куда, мол.

Так она почти три года прожила, а потом все-таки сгинула в лесу. То ли от зверя какого, то ли от голода...

Молчит Панька, тяжело и долго, а я слезами давлюсь. Приснилась мне в ту ночь Тоська. Была она вся жалкая и больная. Платье ситцевое все в лохмотках. И стоит она у Петрухина омута на самом краешке крутояра. Вот-вот в воду канет. Я испугался сперва, потом звать ее стал, от берега отманивать. А она глядит на меня и будто не видит совсем. Потом разлепила губы и тихо так говорит:

— Дурачок ты маленький, вот кто. Никакая я вовсе не Тоська, Машенькой меня кличут.

Сказала так и к обрыву тихохонько пошла. А над головой у нее венец светится, как у пресвятой богородицы на иконе.

Вскрикнул я от ужаса и проснулся. Вижу, надо мной Панька стоит, изгаляется. Ну и здоров, говорит, ты спать, едва добудился.

А за окном уже солнышко проснулось. Пастух Афоня в дудку играет.

Панька был старше меня всего на один год. То ли крестьянское воспитанье и рано пришедшая безотцовщина сделали его намного взрослее, то ли еще что, но в Паньке уже тогда проглядывал настоящий мужик, хозяйственный и серьезный. Как-то сразу и бесповоротно он распрощался с мальчишеством. Вышло это у него просто и естественно, без напускной солидности. И мы, его сверстники, поняли, что уходит от нас Панька в мир жизненного беспокойства, попадать в который никто из нас пока не торопился.

Стало это заметным еще в прошлое лето. Все мы удивились, когда Панька отказался участвовать в набеге за огурцами на огород бабки Попихи. Панька никогда не был трусом, поэтому упрекать мы его не стали, хотя его отказ и был нарушением традиции, которую свято соблюдало не одно поколение дубовских мальчишек. Огурцы у бабки Попихи росли знатные, лучшие в деревне, а если к этому прибавить всем известную бабкину скупость, то, по всем нашим законам, мы просто обязаны были пошерстить ее грядки.

А Панька заявил так:

— Попиха совсем здоровьем сдавать стала, того и гляди в могилу угодит. Огурцы ее последняя радость. А что до скупости, так это от старости. Кто чем живет, тот то и бережет.

Мы выслушали эту Панькину речь со вниманием. Нас он не убедил, но и рассердиться мы на него не рассердились. Ведь во всем остальном он был пока своимким парнем. Тогда вышло так на так: с Панькой не разругались, а огород Попихи все-таки в тот вечер обворовали.

Потом Панька стал нарушать наши традиции все чаще и чаще. Мы прощали ему все, но долго не могли простить его влечение к Тоське.

Может, из-за отца, может, еще почему, Тоську мы считали скверной девчонкой. Привычка эта укрепилась в наших беспощадных ребячьих сердцах еще в начальной школе. Сначала мы невзлюбили Тоську за то, что она всегда сидела на

первой парте на самом виду, писала ровным красивым почерком и часто ябедничала на кого-нибудь из нас тощей и невыносимо злой Моне Ладвинской.

Моника Карловна, жена директора, хозяйничала в школе, как хотела. Она не столько учила нас грамоте, сколько беспрекословному послушанию, потворствовала угодничеству и доносам. Бывало и такое, что ее костлявая рука отвечивала тяжелый подзатыльник особо провинившемуся ученику. А поставить неслуха на два, а то и три часа в угол — считала обычным наказанием. Бывало и такое, что за самую малую провинность она поднимала весь класс на ноги и заставляла стоять до звонка, а сама, как ни в чем не бывало, объясняла нам очередную уроку.

Жаловаться на Моника Карловну своим родителям мы побаивались, потому что родители доверяли учителям, а строгость почитали. Успеваемость в классе была неплохой, и наши отцы и матери считали хорошие отметки результатом все той же строгости. Возможно, оно так и было на самом деле.

Тоська не была тихоней, хотя на уроках вела себя смирно. Моня всегда ставила ее нам в пример, считала Тоську лучшей своей ученицей. Ей прощались грубые орфографические ошибки в диктантах и сбивчивые ответы по устным предметам, и неправильно решенные задачки. Четыре класса Тоська прошла чуть ли не круглой отличницей, ей даже выдали похвальную грамоту.

Семилетку в Дубовке в те времена еще не открыли, и те, у кого, по родительскому мнению, были способности к грамоте, продолжали свое обучение в семилетней школе села Костоярова. В теплую пору ходить туда было одно удовольствие. Осенью шли в школу напрямки через Кошелево болото, и, бывало, запаздывали, но зато вдоволь наедались черники, набивали карманы жесткой клюквой. На переменах стреляли этой клюквой в девчонок, дуя изо всех сил в трубки, вырезанные из пучек. За это частенько перепадало нам от учителей и директора школы Саввы Борисыча, который по строгости характера мало чем уступал Монике Карловне.

За все летние удовольствия приходилось расплачиваться зимой. Болотную тропу заметало снегом, ходили через санник. Зимняя дорога казалась длиннее чуть ли не вдвое, особенно в метельную пору.

Когда погода портилась, сильно морозило или пуржило, за Тоськой приезжал отец на раскормленной кобыле, запряженной в розвальни. Он подкатывал прямо к школьному крыльцу и, отряхнув с тулупа снег, ждал дочку. Остальных дубовских он будто вовсе не видел, и ни разу никому из нас не предлагал сесть в розвальни. Но однажды он снизошел до Паньки:

— Лезь в сани, сосед. Так и быть, доброшу.

Панька поначалу стушевался, потом ответил твердо:

— Я — как все. Не барин, дойду на своих двоих.

Горбач смерил насмешливыми глазами тощую Панькину фигуру, цвиркнул жирной слюной под ноги и, тяжело плюхнувшись рядом с завернутой в тулуп Тоськой, бросил:

— Ишь, голь бесштанная, счо норов показывать. Папшюнок...

И огрел Пегуху мерзлой вожжой.

В седьмом классе меня и Тоську усадили за одну парту. Сидеть рядом с девчонкой было оскорбительно, а приходилось терпеть. Тоська знала, конечно, что я ее недолюбиваю, но вела себя со мной просто, можно сказать, по-деловому. Она сразу же начала у меня списывать на контрольных, не стесняясь заглядывать в мою тетрадь с домашними заданиями. Как парня, по всему видно было, она не принимала меня всерьез, хотя в ту пору мне было уже четырнадцать и я чуть не на голову перерос Тоську. В первое время меня это злило, потом я как-то незаметно уступил ее напористому характеру, терпеливо сносил ее насмешки и шуточки.

Но Тоська никогда не переходила границы в своем девчоночьем озорстве. Стоило ей заметить, что я начинаю сердиться на нее по-настоящему, она тут же теплела глазами и смягчалась.

Училась Тоська в семилетке неважно, видать, сказывалось длительное попустительство Моника Карловны. И мне порой казалось, что уступает она в расправах со мной только потому, что боится потерять во мне своего верного помощника.

Дружба Тоськи с Панькой началась неожиданно для всего класса. Кто бы мог подумать, что наш Панька, независимый Панька, веселый вожак нашей озорной мальчишеской ватаги, вдруг сразу да еще ни с того ни с сего теряет свою независимость, откровенно спасует пе-

ред девчонкой. Да и перед какой девчонкой — перед Тоськой Горбачихой!

Но это случилось. Случилось в тот год, когда мы заканчивали семилетку. Я хорошо помню тот день, вернее вечер, когда мы всей гурьбой возвращались из Костярова. Шел затяжной дождь, дорогу расквасило, в разбитых колеях стояла жирная бурая водица. Все мы промокли с головы до ног. Кое-кого уже стало знобить от холода, Матвейка Важнев откровенно выбивал зубами яростную дробь и слегка поскуливал.

Миколин вражек перешли чуть ли не по колено. Он совсем заплыл грязью, а мостик через него в это лето так и не удосужились наладить. Когда перешли вражек, кто-то предложил развести костер под старой елью и обсушиться.

Под елью было сухо, пахло прелью и свежей смолой. Запалили небольшой костерок рядышком с толстым присадистым стволом, в котором зияло большое дупло. Мы с Матвейкой притащили по охалке хвороста, и вскоре костер запылал сочным и жарким огнем. Жара сбита нас в тесную грудку, прижала к самому корневищу ели. От нашей одежды шел пар, Костя Семин уже умудрился прожечь дыру на рукаве вельветового пиджака и теперь сокрушенно разглядывал ее, наверняка зная, что ему перепадет за это от матери.

Так мы просидели около часа, изредка подбрасывая в огонь осклизлые валежины. Тепло разморило всех, кое-кто стал клевать носом. Я тоже совсем уже начал задремывать, когда неожиданно заметил, как сидевшая рядом со мной Тоська подвинулась к Паньке и стала потихоньку клониться на его плечо. Панька бережно обнял Тоську. Головы их сблизились.

Дождь как-то незаметно сник, одежда наша подсохла, а мы все сидели под старой елью. На костре дотлевали последние валежины, снова стало немного зябко. Отошла сонливость, и мы зашевелились, как озорные волчата. Паньку будто кто подменил. Он веселился сильнее всех. Глаза его поблескивали плохо скрытой радостью, по всему было видно, что домой ему идти не хочется. Наверно, потому и надумал он тогда выкинуть эту штуку с елкой. Вместе с Тоськой они сбежали в близкую делянку и притащили целый ворох козырьков, наполненных живицей. Панька опростал их в дупло, настрогал пучок щепочек, и все мы поняли, что он затеял. Через ми-

нуту густое, с черными вихрами по краям пламя вырвалось из дупла и с напряженным, всевозрастающим гудом устремилось вверх.

— Гудет, как в печке — восхищенно вскрикнула Тоська и, отшатнувшись от набирающего силу огня, заслонила глаза ладонью.

Все мы радовались огню и только вечно опасливый Матвейка сказал Тоське с усмешкой:

— Ну и влетит нам от твоего батьки. Узнает, три шкуры спустит.

Тоська презрительно посмотрела на Матвейку, зло обрезала:

— Трус ты, вот кто. Был трусом и будешь.

Защищать Матвейку никто не стал, хотя оскорблять друг друга да еще такими обидными словами в нашей компании было не принято.

А елка тем временем превращалась в огромный огневой факел. Уже стало вчереть. До Дубовки от нас было версты полторы, и кострище могли запросто заметить из деревни. Да к тому же, хоть и мокреть была в лесу, пожар мог начаться в любую минуту. Видать, это сообразил Панька. Лицо его сразу посерьезнело:

— Надо заливать огонь, — тихо сказал он и виновато посмотрел на Тоську, будто ища ее поддержки.

Благо, вода была рядом, в овражке. Кепками мы черпали буроватую жижу и тащили к огню. Подойти к елке было не просто. Корневище ее превратилось в большую жаровню, внутри которой сочно потрескивало пламя, крупные ошметки искр разлетались во все стороны. Пламя, вырываясь из дупла, лизало ствол, огненными белками металось по сучьям. Лица наши горели от нестерпимой жары, искры хлопьями падали на одежду, но мы будто забыли об этом в азарте борьбы с огнем.

Перед моими глазами мелькало лицо Паньки, он был весь мокрый и грязный, даже по щекам его струилась жидкая болотная грязь. Рядом с Панькой все время была Тоська. Испуганная, разгоряченная. Где она взяла кепку — господь знает, но вместе с нами она носилась от елки к овражку, чуть ли не по колено залезала во взбаламученное болотце.

Когда огонь начал уже уступать, случилось неожиданное. Старая ель дрогнула косматой вершиной и стала медленно оседать, как бы проваливаясь в огненную яму.

Мы сначала растерялись, потом, как по команде, бросились врассыпную. А за нашими спинами угрожающе нарастал шум падающего дерева. Потом гулко хряснуло, и шум, утихая, как бы осел на землю. Старая ель упала поперек дороги. Ствол ее не достиг земли, он завис в метре от нее на мощных изуродованных ветвях. На месте корневища теперь зиял глубокий провал с жарко полыхающими угольями. Мы сгрудились вокруг него и глядели завороченными глазами на многоцветные переливы медленно угасающего пламени.

Эта история с елкой закончилась в общем-то благополучно для каждого из нас, если не считать прожженной и вкопеч перепачканной одежды да тумачков, доставшихся на долю тех, кто не сумел найти подходящего оправдания перед своими родителями.

И еще это лесное происшествие накрепко сблизило Паньку с Тоськой. Их дружбе, а потом и любви, не смогли помешать ни наше молчаливое мальчишеское осуждение, ни злая родительская воля Горбача, ни другие жизненные испытания. Знать, была эта любовь крепче родительских запретов, не убоилась Тоська ни грозного отца, ни худой людской молвы. Еще сильнее потянулось она к Паньке. Куда девалась прежняя девчонка-ябеда, которая не прочь была щегольнуть семейным достатком перед своими сверстниками. Всего какой-то год изменил Тоську, да так, что и узнать было трудно. Смерть Панькиной матери она переживала так сильно, что можно было подумать, умер самый близкий для нее человек. Вместе с бабкой Попихой она обмывала ее измученное болезнями и невзгодами тело, хоть и считалось это дело по деревенскому обычаю совсем не для девичьих рук.

В ту весну Тоське минуло шестнадцать. Ходила она по Дубовке королевой. Высокая, статная, будто окрыленная своим девичеством и нарастающей бабьей силой, вошла она в свою взрослую пору жизни. Вошла легко и сразу, наполненная до краев счастливым ожиданием чего-то очень хорошего, щемяще тревожного и пока невиденного. Каждая новая встреча с Панькой усиливала в ней это чувство, разукрашивала его до радостной полноты и необыкновенности. Все чаще Тоська задумывалась над тем, как жить им с Панькой дальше. Раннее замужество в нашей де-

ревне было в те времена делом привычным и зачастую необходимым.

Родители молодых шли на брак своих деток с большой охотой, особенно, когда речь шла о дочерях, которым, как они считали, самим богом велено долго не засиживаться в девках. Стоило кому-нибудь из наших девок не выйти замуж до двадцати годов, к ним тут же приспосабливали обидное прозвище: перестарок, мол, а не девка. И тогда уж неудачнице оставалось выходить за вдовца или увечного мужика, который еще не сыскал себе бабы. А если и так жизнь не сладится, то выпадало ей одно — мыкать свой век девкой-вековухой. Лишних-то мужиков в Дубовке, считай, и до войны не было. А о разводах в нашей деревне за все времена слыхом не слыхивали. Раз уж женился кто, то на всю жизнь.

Торопились выдавать замуж и еще по одной важной причине. Это освобождало от всех забот о родной дочери. Вышла — пусть муж заботится. А если еще ко всему дочка выходила замуж за самостоятельного и работающего парня, то с достатком молодой семьи и родителям невесты кое-что перепадало. Вот поэтому парни пользовались податливостью, а часто и прямым поощрением родителей невесты, обзаводились семьями, едва достигнув первой мужской уверенности. А годам к двадцати пяти наживали по два, а то и по три ребенка. Их женам в ту пору было только-только за двадцать, но они уже целиком попадали в полон забот о семье и о своем крестьянском хозяйстве.

Тоська, если бы все шло по-хорошему, тоже могла выйти за Паньку этой осенью. Свадьбы в Дубовке начинались после покрова дня, когда деревня укреплялась на зиму всем необходимым для своего немудреного жизненного существования. Паньке за неделю до покрова должен был минуть восемнадцатый год. Возраст для женитьбы вполне подходящий, да и в расторопной хозяйке теперь Панькин дом нужду имел большую. Долго ли еще могла помогать хозяйствовать Паньке бабка Попиха. Доить два раза в сутки норовистую Пеструху и то для старухи дело нелегкое, а тут еще целый дом в порядке содержать надо. У Паньки мужских забот в достатке, ему хлеб для семьи зарабатывать надо. До каких же пор его и Ванятку чужие люди обихаживать будут?

Тоська то и дело норовила помочь ста-

рой Попихе управлять Панькино хозяйство. Она и в избе прибирала, и скотину кормила, и за Ваняткой догляд вела. Правда, как всегда, делать это старалась потихоньку, когда Паньки не было дома. Негоже молодой девке к своему парню в дом ходить, когда она замуж за него выходить собирается. А в том, что у Паньки с Тоськой в скором времени будет свадьба, в деревне теперь почти перестали сомневаться. Горбач этому воспрепятствовать не мог, а с матерями нынешняя молодежь считалась не очень. Да и сама Тоська девкой была характерной, чего захочет — добьется.

Горбачиха не раз пробовала встать дочери поперек пути, та и слушать ее не хотела. Грозила отцом, но и это действовало не надолго, разве что до первого вечера. Да и как найти без мужа управу на взрослую дочку. Горбачиха это по себе знала. Она ведь тоже за своего Егора против родительской воли пошла.

Егор рос гулякой. Говорили, что еще совсем молодым парнем начал за девками ухлестывать, от самогона никогда не отказывался, но зато и на работу был ловок, в лесу и на покосе за двоих мужиков управлялся. И хоть красоты в нем особой не было, ростом и силушкой его бог не обошел.

Может, потому и нравился он девкам, может, и Устю он этим привлек. Увидела в нем Устя свою бабью судьбу и пошла на ее зов без оглядки. Родители на свадьбу ее с Егором не соглашались, хотя сватал ее он три осени кряду. Но то, что бог велел, так оно и стало. Прижила она от Егора ребенка еще в девках. Испугавшись отцовского гнева, собрала пожитки и тайком ушла в дом Ветровых. Те ее приняли сурово, но выгнать не выгнали. Пять с лишним годов гнула она на них спину, ломила по хозяйству, терпела обиды от свекрови и истово охраняющего свою кержацкую веру свекра. Потом сжалился над ней муж и решились они, скопив деньжонок, на переезд в чужое место. Так вот и объявились они в Дубовке...

Все это не раз вспоминалось Устинье Ветровой, когда она собиралась отчитывать непослушную дочку, прогулявшую до рассвета с Панькой Рохмистровым. Душой она понимала Тоську, парень и ей приглянулся — не охальник какой да и к делу способный, но все это вытесняли мысли о том, что Егор, возвратившись из тюрьмы, не простит ей этого

материнского упущения. Не простит по своей суровости и затаенной ненависти к Паньке. И потому приходило к Устинье успокоение только в то короткое время, когда Панька с парнями уходил на летние заработки в леспромхоз. А с Тоськой в эти недели творилось совсем неладное. Она вся притихала, ходила по избе, как сонная, всякое дело валилось у нее из рук. Видать, шибко закружил ей голову парень.

В тот вечер Тоська скорехонько прибрала избу, достала из сундука любимое синее шерстяное платье, долго сидела перед зеркалом, прихорашивая буйные смолянистые волосы. Устинья откровенно любовалась дочкой и опять вспомнила свою не очень веселую молодость. В нее, Устинью, удалась дочка, красавица писаная, телом хороша и ростом. Такую не грех бы и за городского выдать, за человека с образованием. Увидев, как Тоська ласточкой метнулась к окну, она поняла все. Из леспромхоза вернулся Панька.

ГЛАВА ПЯТАЯ

Есть возле Дубовки место такое. Высокой Гривой его прозвали. И хоть не очень высока эта грива, но в наших приземистых краях выглядит она заметно. У покатога ее подножья чуть слышно шепелявит речка Елдежик, скатывая в илестые омутки свои невеликие воды.

Старики считают гриву древним берегом Елдежика. А для нас она — наша первая детская радость, наша первая земная возвышенность, с которой полными удивления и восторга глазами мы впервые увидели наш деревенский мир. Мир этот отсюда казался нам прекрасным и неповторимым, наполненным внешней свежестью и неосознанным счастьем. В нем нам предстояло жить и здороветь телом и духом, укреплять свой разум.

Высокая Грива научила меня доброму чувству природы и жизненной озабоченности. И пока я живу на вольном свете, пока дышу сладким воздухом земли моей, я буду благодарен ей за это.

Грива вся развешена к солнцу, и весна всегда затепляет здесь первые подснежники, здесь запинается внешним днем своими лучами солнышко и подолгу греет стосковавшуюся по теплу землю. Вместе с первыми подснежниками

топорчат шалашиком прошлогоднюю траву острокопьевые пестики. Так у нас, в Дубовке, называли и называют невысокий безлистный цветок, в продолговатой головке которого таятся тугие зернистые ядрышки. С виду он очень похож на пест, которым толкут в деревянных старинных ступах разное зерно для каш и киселей сноровистые дубовские бабы.

Мне никогда не забудутся наши ребяческие походы на Высокую Гриву за пестиками. И сейчас кажется, что не ел я в детстве ничего слаще пестиков. Сочные, ядренные, с острым запахом талого снега, они так и таяли во рту. Мы объедались пестиками до рези в животках, счастливые подростки последнего довоенного лета.

Но больше всего манил нас на Высокую Гриву старый развесистый вяз, склоненный над самым крутоярем. Лет пять назад, когда мы были еще совсем ребятами, Паньке первому пришла в голову счастливая затея свить на его могучих и плотно переплетенных ветвях беседки, похожие на большие птичьи гнезда. С тех пор у каждого из нас было свое гнездо. Летом гнезда нельзя было заметить даже вблизи, зато осенью, когда облетал лист, вяз напоминал диковинное сказочное дерево с исполинскими черными плодами. Мечтательный Костя Семин предложил называть вяз «приютом орлов», и мы с восторгом согласились с этим.

Минувшей весной появилось на вязе еще одно гнездо — Тоськино. Сделал его Панька, и мы теперь уже не осудили нашего друга за это.

Вяз был в наших краях деревом редким, и нам почему-то казалось, что на нем обязательно должны расти орехи. И когда ближе к лету на его вырезных листьях и на стебельках появлялись желтоватые шарики-наросты, мы с надеждой ждали поры их созревания. Это был еще один золотой мираж нашего милого детства.

Я всегда свято верю в неповторимость всего самого лучшего, самого светлого. Этим лучшим и светлым были для меня детство и Высокая Грива. И все-таки, когда я бываю снова в родных местах, вырвавшись на неделю-другую из моего теперешнего, наполненного новой жизнью и новым, ставшим уже давно привычным, содержанием взрослого мира, я как бы по мановению волшебной палочки опять и опять попадаю в чудесную сказку.

И, когда я прихожу на Высокую Гриву, чтобы оживить самые радостные уголки моей памяти, я подолгу стою в каком-то счастливом оцепенении на ее залитом теплым солнышком припеке. И хотя Грива не кажется мне уже такой высокой, как раньше, щедрость ее ко мне велика и безоглядна, как и в былые годы.

Уцелел и наш вяз. Только нет в нем прежней буйной пышности, кое-где пообломаны его сучья. Разорены наши гнезда — даже следа от них не осталось. И только сердце мое бережет о них верную память.

Появляются под вязы белоголовые мальчишки, девчонки, похожие на Тоську. Но они играют в другие игры, говорят другие слова. А может, это кажется мне, взрослому человеку, сердце которого упрямо защищает неповторимость бывшего счастья. Ах, память-память, давай послушаем вместе, о чем шепчут листья старого вяза. Может быть, дерево тоже вспоминает сейчас о том давнем июньском утре...

...Еще и солнышко толком не высветлилось над лесом, а ко мне, по уговору, уже пожаловали Костя и Матвейка.хлопотавшая у печки мама встретила их полусутильным ворчаньем:

— Экую рань поднялись, шалопуты окайанные. Али клопы спать не дают!

Матвейка и Костя виновато переминались с ноги на ногу, не проходя дальше порога. Потом Матвейка осмелел, двинулся к лавке и, усевшись, заговорил заискивающе:

— Тетка Катя, мы по делу. Ей-бо, по делу. Вчерась удумали с Панькой за Шилову поляну сходить. Тятя мой сказывал, липы там ужасно скоко. И вода там близко.

— Говори уж лучше, что на запах блинов пришли, — в ответ на Матвейкины уловки рассмеялась мать.

— А моя матка давно блинов не пекла, — живо поддержал разговор Костя Семин, мечтательно заглубев глазами.

Через минуту мы сидели за столом, уплетая румяные блины с густой ледающей сметаной. Сметану к блинам мама всегда выдерживала в погребе. Оporожнив целую плочку блинов и выпив напоследок по стакану молока, мы вышли из-за стола. Мама проводила нас добрым и довольным взглядом.

После, когда мы шли к месту сбора, я сказал Матвейке:

— Угораздило тебя встрять с этой Ши-

дубовой полянкой. Зачем врать-то, мама меня и так отпустила бы.

— А я и не вру, — сыто икнув, откликнулся Матвейка. — Тятя мой еще в прошлом году те места заприметил, вечер с маткой собрались идтить туда лыко драть, меня звали, отговорился едва.

— Какое же лыко сейчас, июнь ведь, — усомнился я.

— Ты што? — насмешливо поглядел на меня Матвейка. — Самое лыко теперь и есть.

Возможно, и не совсем был прав Матвейка насчет «самого лыка», но то, что у нас в Дубовке лыко заготавливали при случае и в июне, когда сок в деревьях уже начинал убывать, было правдой. Силенки только поболее требовалось, чтобы лубок от лутушки отодрать, а лыко было, как лыко.

В старые времена липовые лубки шли для ободьев к ситу да решету, набирки да кузовки из них слаживали. А старики, те лыко больше на лапти пускали. С обувкой-то у нас даже в эти годы туговато было, нет-нет да и вырядится какая-нибудь дубовская баба в новенькие лапотки, когда по грибы или по ягоды сберется. Молодежь, верно, лаптями брезговать стала, да и жизнь перед собой-то войной полегче пошла, справить сапоги или другую какую обувь посильно было.

Теперь лыку другой оборот нашли. Надерет мужик этого лыка пучков десятков, а то и поболее, замочит их на несколько недель в бочажины и держит там до тех пор, пока мочало не отойдет. Потом повытаскивает обмякшие пучки, освободит лубки от слизистой сопревшей коры и мочало готово. Остается только высушить его на солнышке, ну, а это дело несложное. Из ольхи сушила вырубят, развесит на них мочало, а остальное ветер да солнце сами сделают.

Наша заготовительная артель охотно брала мочало от частника, цену неплохую давала. Так что стало мочало не последним приработком в нашей Дубовке, потому и повыклестали липу поблизости от деревни наши мужики и бабы...

На выгоне, у высокими расшатанных ворот, на штабельке свежераспиленного теса примостились четверо: Шурка Большанчиков со своей заздобой Галинкой Певневой и, к нашему общему удивлению, Тоська с Панькой. Шурка, сын председателя сельсовета, в сговоре нашем не был, а Панька вечер идти к цыганам не думал. Дело, как мы догада-

лись, пошло по цепочке: Панька уговорил Тоську, та свою подружку Галинку, а где Галинка, там и Шурка по следу тащится. С Шуркой мы большой дружбы не водили и считали его не дубовским парнем. Совсем недавно он заявился к нам из города, где был у бабки на воспитании. Он и учился там, в техникуме, а в Дубовку приехал проведать родителей. Галинка не устояла перед городским парнем и стала гулять с ним из интереса, а Шурка к ней как банный лист приклеился — ни на шаг не отстает. Мы ему за это сначала морду побить хотели, потом плюнули — пусть гуляет, девка свободная.

Мы подошли, не торопясь, к штабелю, поздоровались и тоже присели на тесины, перекурить. Я искоса взглянул на Тоську. Сидела она на краешке штабеля вся счастливая, присмирившая. На плечах Панькин суконный пиджак накинута, глаза волглые, нездешние. Глядит в нашу сторону, а нас будто не видит, о чем-то своим думает.

И полчаса не прошло, как мы были в таборе. Возле одной из повозок рослый чернобородый цыган в поддевке из красного атласа выбирал репьи из гривы молодой кобылки. Заметив нашу компанию, он весело осклабил желтые прокуренные зубы и заговорил бойко, с непривычным для нас аканьем:

— Прашу в табор, маладеш хороший, прашу, прашу...

У костра на толстом войлоке сидела старая цыганка, в ее сосхшемся морщинистом рту дымилась трубка-коротышка. Глаза ее, будто подернутые дымом, глядели на нас холодно и неподвижно. Рядом со старухой сидела, ловко подобрала ноги, молоденькая большеглазая цыганочка с рассыпанными по цветастому платью русыми волосами. Она приветливо, одними глазами, улыбнулась нам и что-то быстро зашептала на ухо старухе. Та понимающе закивала маленькой, похожей на высушенную дыню головой, в ушах ее тихо звякнули большие пластинчатые серьги.

— А девка-то, видно, не ихней породы, — толкнул меня в бок Костя Семин. — Вишь, волос-то белый. А наряжена, как цыганка, никакого отличья.

— Сербиянка это, вот кто, — зашептал нам Матвейка. — Это посреди цыган нация такая есть, вся белая, а живут тоже по-бродячему.

В это время из шатра повысыпали черные, как грачи, кучерявые цыганята,

подошли к костру и усталились на нас. Самые меньшие были без порток, в одних коротких рубашонках, но это их ничуть не стесняло, они таращили на нас свои любопытные глазенки и, видать, ждали угощения. Панька потянулся к пиджаку, который все еще был на Тоське, и достал из кармана горсть слипшегося ландрина, протянул конфеты малышне. Цыганята даже не пошевелились, но с войлока поднялась русоволосая молодница, приняла Панькины сласти и ловко втиснула в перепачканные ладошки цыганят каждому свою долю, одну конфетку хрупко раскусив сама. И опять улыбнулась, на этот раз одному Паньке.

К костру подошел чернобородый. Цыганят сразу будто ветром сдуло, дрогнули брови у молодой цыганки, и только старуха не шелохнулась, не отвела глаз от огня. Цыган был молод, плечист, взгляд цепкий, колющий, но к нам он, по всему было видно, отнесся с расположением.

— Давай кастру ближе, песня будит, — бодрой скороговоркой заговорил он и размашисто бросил к шатру уздечку с медными бляхами.

Метнув взгляд на молодую цыганку, выкрикнул повелительно:

— Зара, песню давай, гостей веселить будем!

Зара пугливо трепыхнула ресницами, медленно покачала головой, будто отнекиваясь, и вдруг запела тихим, каким-то нащептывающим голосом. Слова в песне были непонятные, тревожащие, песня совсем не походила на бойкие, полные гортанных выкриков и надрывов страсти цыганские напевы, которые нам приходилось слышать раньше.

— По-своему поет, по-сербиянски, — уважительно обронил Матвейка. — Ишь, как выводит, ажник слезы проглатывает.

Песня оборвалась как-то сразу, будто подрезанная струна. Сухая, похожая на лутошку, рука старухи качнулась в сторону девушки, легла ей на плечо. Печальная пелунья всем телом подавалась к старой цыганке, принимая ее ласку, а, может, защиту от горькой жизненной несправедливости. Чернобородый, заметив это, повелительно дернул плечом:

— Песню ищо давай! Зачим люди пришли? Песню слушать! — И что-то добавил по-своему, — грубо, повелительно.

Я опасливо покосился на цыгана. Он

мне напоминал глухого возчика Филью, самого темного мужика в нашей деревне. Филья по дури своей и душевной ожесточенности однажды при нас, ребятах, нещадно измордовал старого, почти ослепшего коня Пирата, когда тот застрял с возом в Миколином вражке.

Пират сначала, собрав остатки сил, под градом тяжелых Филькиных пинков и ударов выламывался из оглобеля, потом, измученный, лег в грязь и только подрагиванием своего большого беззащитного тела отвечал на побои.

Мы тогда люто возненавидели Фильку и при всяком удобном случае мстили ему за Пирата.

Мне было жаль Зару. Наверно, очень тяжело живется ей рядом с этим жестоким человеком. «Кто он ей, кем доводится? — думал я. — Муж или просто родственник?».

Мои мысли прервал резкий голос старухи. Торопливые, неразборчивые слова срывались с ее сухих, испещренных мелкими трещинами губ вместе с хлопьями вскипевшей от возбуждения слюны. Мне даже показалось сперва, что старая цыганка попутно со словами с непостижимым проворством лужгала семечки и шелуха от них то и дело летела у нее изо рта.

Чернобородый задержал беззвучно губами, передразнивая старуху, шаркнул плетью по высокому голенищу и лениво зашагал к лошадям. Испуганными, полными слез глазами провожала его Зара.

Нам стало неловко, что мы стали нечаянными свидетелями, а, может быть, и причиной, этой ссоры в таборе. Наспех попрощавшись, мы пошли к дому. По дороге надумали завернуть на Петрухин омут, искупнуться разок-другой в его прохладной водиче. Тоська с Галинкой сразу заспешили в деревню. Мы их держать не стали. Девчонкам купаться вместе с парнями не пристало, а если им охота побарахтаться в воде — пускай ищут другое место. Такой уж закон соблюдался: мужики и бабы испокон веку купались по отдельности. Придерживались этого правила и молодые.

Петрухин омут дубовские парни облюбовали для купанья давно. Хотя он и был далековато от нашей деревни, зато купаться в нем было привольно. Правда, частенько сюда навевались павлухинские ребята, но мы с ними жили мирно, дрались только в редких случаях да и то без большой злобы.

И в этот раз чуть повыше омута под старой ольхой мы увидели двух павлухинских — Митьку Кулизенку и Андрейку Большакова. Парни так увлеклись рыбалкой, что поначалу не заметили нас. С Кулизенком у меня были старые счеты. Прошлым летом он и его два брата поколотили меня за то, что я во время одной из рыбалок случайно набрел на их потайной заездок с двумя вершами. Сознавая, что их секрет открыт и верши придется перепрыгивать, они обозлились на меня и для остротки надавали тумачков. Особенно усердствовал меньшой брат Митька, понимая в этом разе безнаказанность случая.

О моей стычке с кулизятами знали все. По закону справедливости теперь мне полагалось свести с ними счеты.

С опозданием заметив опасность, Митька хотел было рвануться в бега, но оставить две братовы удочки с крючками-заглотышами и фабричной леской было выше его сил. И он, обмякнув плечами, снова присел на корточки, с еще большей пристальностью вперившись в поплавок.

Я подошел к нему сбоку и вместо «бог в помощь» сильно взрезал ему ладонью по белообрисой стриженной голове. Митька скovyрнулся в воду.

Немного побултыхавшись, Кулизенко смело выбрался на берег, понимая, что на этом месть закончилась. Он даже не побоялся пригрозить мне:

— Погодь, изловим опосля с братками.

То, что Митька угрожал коллективной мстью, было справедливым, в одиночку он со мной справиться не мог.

Через пять минут я позабыл о Кулизенке, весело ныряя с друзьями в Петрухином омуте. Купались мы долго, до тех пор, пока совсем не иззябли. Потом целый час лежали на берегу, отогреваясь под лучами набирающего силу солнца.

Возвращаясь домой, встретили чернобородого. Гнедая кобылка, запряженная в легкую цыганскую телегу, рысью проплыла мимо нас. Чернобородый даже головы не повернул в нашу сторону.

— Поди, в Шимонино покати, харя цыганская, — обругал его Костя Семин.

— Видал, какой злощий. Наверно, от старухиной выволочки оклематься не может. У них ведь в роду старики всю власть держат.

— В Шимонине водки нажрется, оклемается, — откликнулся Панька. — А старухе платок дешевенький привезет, задобрит.

— Жди платок от такого волка. Как бы не так.

— Небось, привезет. Его старуха вон как взнузда, огрызнуться не посмел, не то што, — поддержал Паньку Матвейка.

— Видно, матерью ему приходится али бабкой, — согласился с друзьями Костя. — А то стал бы он ее слушать.

Пока они спорили, я думал о Заре. Молодая цыганка мне очень поглянулась, и я с большой неохотой ушел утром из табора. Мне хотелось снова увидеть ее, и я обдумывал, как это удачнее сделать. Идти в табор одному было неловко, и мне пришла в голову счастливая мысль подговорить на это дело Паньку с Тоськой. Я был уверен, что Панька согласится еще раз сходить к цыганам, потому что это и для него неплохой повод погулять целый вечер с Тоськой. Да и чернобородый на этот раз нам не помешает, в район он поехал, наверняка, с ночевой.

Мои размышления прервал Панька:

— Ловко ты саданул Кулизенку-то. А что если и впрямь он тебя с братьями заловит? Они ведь махать кулаками тоже сноровисты.

Уловив в голосе Паньки насмешку, я огрызнулся:

— Надо было, вот и саданул. Таким, как они, раз спусти, они на шею сядут и ноги свесят.

— Да я тебя не ругаю, — примирительно сказал Панька. — Только ладно ли в нашем возрасте пустые драки затевать. Пускай меньшие носы друг дружке квасят, это им для здоровья тела полезно. Мы и поумней занятие найти сможем.

— С чего ты таким рассудительным стал. Может, драки боишься?

Панька насмешливо взглянул на меня, но в ссору встречать не стал. С минуту мы помолчали, потом я хотел спросить его насчет табора, но он, как бы угадав мои мысли, опередил меня:

— А что если к вечеру снова к цыганам наведаться, а?

Я, стараясь не подать вида, что обрадовался, сдержанно ответил:

— Можно, конечно, и к цыганам. Все одно время девать некуда.

Панька загадочно ухмыльнулся и вдруг повернул разговор на другое:

— А што, если мы сейчас к бобрам в гости махнем, а?

Костя с Матвейкой с готовностью откликнулись на это предложение. Шур-

ка Большанчиков тоже проявил любопытство.

— К бобрам, так к бобрам, — согласился я. — Тут до первой гати совсем рядом, в полчаса добежим.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

Однажды мы с Панькой ходили рыбаить к мельнице, но бобров нам увидеть не удалось. Правда, я показал ему запруду и обмазанные глиной домики, но самих животных, сколько мы ни глядели, выгладеть не могли. Только один раз тронутую легким ветерком воду на небольшой глубине пробороzdило что-то, но ручаться за то, что это проплыл бобер, было трудно. Может, зубастая щука бросилась в погоню за добычей, может, выдра подстерегла щуку. А где появляется выдра, там бобрам не жизнь. В воде они лютые враги. Бобры своими плотинами замыкают ход рыбе и потому оставляют ее, выдру, без пропитания. И за это пакостит выдра бобрам всячески: то оплошавшего бобренка где придушит, то в запруде пролом сделает исподтишка и воду спустит. Беда от нее бобрам да и только. Часто их выживает выдра с облюбованного и уже обжитого места.

Может, и тогда выдра довела бобров до того, что они покинули свои норы и мазанки? Но как бы то ни случилось, бобров мы с Панькой тогда не увидели, хотя подкрались к запруде совсем тихо.

В другой раз нам с ним повеселилось больше. Было это тем же летом. Потом еще как-то я выманил Паньку на рыбалку, и порыбалили мы тогда очень даже удачно. И потому припоздали со временем. Когда подошли к знакомой запруде, солнышко уже закатилось и на смену ему вышла полнолуная луна. Ровным желтоватым светом окатила она лес и притихшую в этот час реку.

Возле самой запруды Панька неожиданно дернул меня за рукав:

— Гляди-ко, диво-то какое, — прошептал он.

И тут я увидел на широком водном зеркале несколько широких поблескивающих зигзагов, идущих то в одном, то в другом направлении.

— Бобры! — одними губами откликнулся я.

И мы, боясь пошелохнуться, долго наблюдали за повадками и диковинной работой этих удивительных зверьков.

Бобры нас не заметили. Может, потому, что мы стояли шагах в десяти, на крутояре, поросшем кустарником, может, они были сильно увлечены своим делом и им было не до нас.

Когда мы пригляделись, то поняли, вся основная работа шла на противоположном берегу. Оттуда явственно слышались скрипуче-чавкающие звуки. Там бобры пилили деревья. Двух зверьков нам удалось даже разглядеть. У самого края воды возле небольшой осинки стоял крупный бобер. Он стоял на задних лапах, упершись широким хвостом в землю, обхватив передними лапами дерево. Он работал. Голова его приткнулась к белой, сужающейся к середине, нижней части ствола и медленно покачивалась из стороны в сторону. Рядом с пильщиком орудовал другой зверек. Головой и передними лапами он подталкивал к воде большой обрубок уже поваленного ствола. Делал он это с приложением завязтого грузика, и, когда ему удалось толкнуть бревнышко в воду, он превратился в купальщика, который ловко плавает, держась за бревно или доску.

Бобер гнал бревнышко к плотине, и когда он подплыл к ней совсем близко, рядом с его лоснящейся плоской головкой вынырнули две другие и ловко подхватили бревнышко, увлекая его под воду. Вода в этом месте хлюпала и пугырилась. Шло строительство, укрепление плотины.

Из долгого оцепенения нас вывел хряст поваленного дерева. Это крупный бобер справился со своей нелегкой работой. В этот же момент, как по сигналу, от плотины к берегу, высунув наполовину головы, поплыли сразу несколько бобров. Выбравшись на берег, они встряхивались от воды и сразу же приступали к работе. Чавканье и поскрипыванье утихало.

Мы с Панькой уже совсем освоились, стали потихоньку разминать затекшие от долгого стояния ноги, но вынуждены были снова затаиться: под самым берегом возле нас что-то забулькало и закопошилось. Три маленьких бобра, видать, еще молодые, вылезли на берег и без всякой опаски принялись играть. Они были похожи в эти минуты на расшалившихся уальней-ребятишек: неуключе барахтались, они легонько покусывали друг дружку в жирные загривки и, отталкиваясь от земли сильными упругими хвостами, делали смешные

прыжки и перевороты. Так они играли минут пять. Потом один бобренок стал усиленно карабкаться вверх на голый взлобок, покато уходящий к воде. Достигнув верха, он совсем уже по-ребячески лег на живот и будто с ледяной горки заскользил со взлобка к воде. С оглушительным шумом шлепнулся в заводь. Мы с Панькой не выдержали и довольно громко хохотнули. Бобрят с берега сразу как ветром сдуло. Встревожились бобры и на той стороне. Тихо, стараясь не дышать, мы отступили от запруды в лес.

По дороге домой Панька разговаривался:

— До чего умные звери. Чисто люди, а?

И, не дожидаясь моего ответа, задумчиво продолжил:

— Все строят-строят, жилье свое обиходят, а придет какой-нибудь гад и все порушит. Бобров постреляет...

— Закон ведь есть, — возразил я.

— Какой он, закон, для волка-то?

Мне почему-то вспомнился Колька Варнаков, который приволок убитого бобренка в деревню. Конечно, с ним случай вышел, зверек сам на крюк наскочил. Но ведь мог отпустить его Колька на волю? А он его палкой досмерти ухлестал. Может, боялся у живого крючок изо рта высвободить?..

Я старался оправдать Кольку и не мог. В глазах у меня стоял тихо скользкий на брюхе со взлобка шалун-бобренок. Разве можно поднять руку на такого? Он ведь, как дитя малое...

И вот мы снова у бобриной гати. Шурка, Матвейка, Костя, Панька и я.

Мы чуть ли не ползком подкрались к воде и притихли в ожидании. Ждали больше часа, пока не надоело. Вода в запруде не шелухнулась. Поняв, что на этот раз нам ничего не высидеть, мы подошли к самой гати. Шурка попробовал было вступить на нее, но по неловкости сразу же провалился по колено в воду и опасливо выскочил на берег. Запруда в этом месте была глубокой.

Мы долго рассматривали гать, удивлялись ловкости и сноровке бобров, которые с удивительной, прямо-таки людской сметкой перекрыли речку.

— Вишь, хитрюги, — похвалил бобров Матвейка, — сперва березу наперек завалили, потом хлам к ней всякий подтаскивать стали. Бревнышки да сучки крупные ветками скрепили, чистый плетень сделали, как у бабки Попихи.

Одно нам было невдомек, как это боб-

ры дыры в гати замазывают, да так, что вода не проходит. Ковырнул я гать в одном месте и полную горсть ила выгреб. Поглядел, а в этом иле мелких веточек крошево. Ребятам показал. Все снова удивились, мол, в самом деле, смысленные чертяки. Видать, жизнь сноровке-то научила.

— А пища у них какая? — спросил Матвейка.

— Смекай башкой-то, — откликнулся Панька, — кору они гложут. Как зайцы. Вона сколько ольхи да ивы позатопили, надолго хватит, только жуй.

Искупнуться в заводи мы побоялись, хотя солнышко пекло нещадно. Посланывшие немного по берегу, пошли домой. Хотелось есть. Матвейка о бобровом пропитании, наверно, заговорил не случайно. Маминых блинов и ему ненадолго хватило...

Вечера я ждал с нетерпением. Едва вернулось с пастбища коровье стадо, еще не все Буренки и Пеструшки разбрелись по своим дворам, не успел еще вдоволь глотнуть с устатку Кляниного самогона пастух Афоня, а я уже спешил в условленное с Панькой место. Ждать Паньку с Тоськой пришлось долго. Я вспомнил, что бабка Попиха приболела, и выходило так, что Тоське в этот вечер, поди, опять пришлось помогать Паньке домовничать.

Отяжелевшее, похожее на перезрелую дыню солнце, красно просвечивая между загустевшими стволами елей, неудержимо катилось за горизонт, где-то, в другом конце деревни, запиликала холостяцкая гармонь. А Панька с Тоськой все не приходили. Я совсем отчаялся их ждать и уже хотел идти в табор в одиночку, но в это время они пришли.

Я заворчал на Паньку, но Тоська тут же вступилась за него. Шутливо подтолкнув меня локтем, она сказала со смехом:

— Истосковался без нас, поди?

И озорно подмигнула Паньке.

Мне стало ясно, что мой сердечный секрет, который я так старательно берег ото всех, стал рассекреченным. Но меня это, признаться, не шибко огорчило.

Весело перешутиваясь, мы миновали выгон, подошли к закрайке леса. До табора было рукой подать. И тут я увидел в редком, уже затуманенном первыми сумерками ельнике знакомое цветастое платье.

— Зара! — почти выкрикнул я и растерянно замолк. Ничего не заметившие

Панька с Тоськой с удивлением смотрели на меня, не понимая, что заставило меня закричать. В их глазах я, наверно, выглядел в эту минуту Иванушкой-дуррачком, узревшим тайное превращение лягушки в царевну.

Зара услышала мой выкрик и, конечно, увидела нас, но не остановилась, а поспешила скрыться в лесу.

«Почему она такая пугливая? — подумал я. — Не звери же мы какие, бояться нас нечего. А может, чернобородый наказал ей таиться от нас?..».

В таборе было все так же, как и поутру. Только костер горел поярче да не было видно поблизости стреноженных коней не маячила возле шатров рослая фигура чернобородого. Старая цыганка большой нахохленной птицей сидела на прежнем месте, изредка попыхивая трубкой. Зара примостилась возле нее, тихая и печальная. Можно было подумать, что сидит она так с самого утра и совсем не ее в крупный цветок платье мелькало всего несколько минут назад в мелколесье.

Старуха, заслышав наши шаги, зажвала губами, потом скрипуче заговорила:

— Опять нам што ли бог гостей послал, а, дочк?

Зара слегка коснулась морщинистой руки старухи, согласно кивнула головой.

— Пусть присядут у огонька, милости просим.

Говорила старая цыганка по-русски совсем чисто и свободно, говор ее ничем не отличался от речи хотя бы наших, дубовских, может, только был чуточку попростяжней. Это нас удивило и заинтересовало. А меня удивило еще и другое: старуха при разговоре не смотрела в нашу сторону и слова свои обращала только к Заре, мы для нее будто вовсе не существовали. Я не сразу догадался, что она слепая. Понял это лишь тогда, когда она, уронив трубку, стала шарить ее дрожащей рукой по войлоку, натываясь то на дочьи ноги, то на мятую жестяную коробку с табаком.

Я пожалел старуху, как пожалел бы, если привелось, всякого другого убогого человека. К этому сердоболию приучила меня жизнь. Так уж повелось на все времена в наших местах: откажи себе, но помоги слабому, немощному. К этому принаравливали нас отцы и матери, воспитывали своей бескорыстной добротой чужие люди. И потом, даже в самую лютую послевоенную бедность и голодуху, я помню, в нашем доме, да и в дру-

гих избах тоже, никогда не отказывали косоглазому дурачку Никашке в скромном деревенском подаянне, делились с ним последней картошкой, последней коркой хлеба. Выходило так, что Никашка даже в особо трудные годы жил чуть ли не сытнее всех других.

Мои друзья тоже, видно, догадались, что старая цыганка не видит мира. Я заметил это по тому, с каким интересом и удивлением они смотрели теперь на нее. Тоська, как бы откликаясь на старухино приглашение посидеть у огня, торопливо проговорила:

— Мы счас, бабушка, вот только за хворостом сбегам

Костер уже начал потихоньку прогорать, а дров и впрямь было маловато. Мы с готовностью поддержали Тоську. Вместе с нами пошла за хворостом и Зара. Ее легкие босые ноги, прикрытые почти до пят платьем, быстро перенесли ее через полянку, и не успел я опомниться, как потерял Зару из виду. Я опрометью ринулся вслед за ней, плохо понимая, зачем я это делаю. Панька с Тоськой будто нарочно пошли в другой конец поляны.

Зара ничуть не удивилась, увидев меня рядом с собой. Ласковая, понимающая улыбка тронула ее губы, высветила лицо. Она заговорила со мной так, будто знала меня давным-давно. И не было в ее словах обычной цыганской велеречивости, мягкой вкрадчивости и заискивания:

— Ты чего за мной, как скаженный, бросился? Испугать решил?

И снова улыбнулась. На этот раз хитро и вызывающе.

Я оторопело глядел на Зару, не зная, что говорить, что делать. Она меня выручила от смущения:

— Ты за хворостом пришел или за чем? Если за хворостом, давай делом заниматься.

Через немного времени я взгромоздил на плечи большую охапку сухих веток и валежин, отобрав у Зары и ее ношу. Она противилась вначале, но только для вида. По ее глазам я понимал, что ей пришлось по душе мое внимание.

По дороге к табору я задал девушке осторожный вопрос:

— Старуха матерью тебе доводится или как?

Зара сразу посерьезнела, ответила тихо:

— Чужая она мне, а во всем, как мать родная.

И помедлив, добавила:

— Хорошая она, справедливая...

Мы помолчали, потом я насмелился спросить девушку о самом главном, что меня тревожило:

— А тот, бородатый, кто тебе?

— Думитро? Так он брат мой названный.

— Как это?

— Да так. Не родной, значит...

— А сердитый он пошто? На тебя зверем смотрит.

— Не, Думитро добрый, — покачала головой Зара. — Несчастный он, жену потерял. Вот злой и ходит.

— Как потерял?

— Ушла она от него, с другим ушла. В чужой табор.

— Не любила, поди. — не очень смело, с сумятицей в голосе выговорил я.

— Любила, да потом другой встретился...

— Плохая, значит, была, если хвостом вертела.

— Не, добрая была.

— Все что-то у тебя добрые, — буркнул я.

Зара подняла на меня свои удивительные, чуть посуровевшие глаза и проговорила раздумчиво, будто для себя:

— Да, добрая. Песни пела, ой, как ладно.

— Ты тоже хорошо поешь.

— Не, она хорошо пела. Весь табор любил ее слушать. Думитро в ней души не чаял. И теперь, как помянет, так и петь просит. Вот я и пою.

— Так ты не цыганка, выходит, никакая, так я понял?

— Так.

Мы снова помолчали. Потом Зара с неожиданной проснувшейся в ней доверчивостью ко мне рассказала о том, как попала она в цыганский табор. Семи лет от роду осталась она без родителей. Отец бросил семью, когда она была еще совсем маленькой, а мать умерла в голодный год от холеры. Вот тогда и отдали ее бродячим цыганам дальние родственники, для которых была она лишним ртом в их и без того многодетной семье.

— Так как же тебя слепая цыганка смогла вырастить? — невольно вырвалось у меня, когда Зара закончила свой рассказ.

— А она тогда не слепая была. Матушку в последнее время горе подкосило. Слепела она после смерти дяди Гацэ, мужа своего. При нем мы сытно жили. Он конями торговал, а матушка

гаданием зарабатывала. Она у нас провидица, даром что слепая. Судьбу всю как есть угадывает, чистую правду говорит.

Я не стал разуверять Зару в тайной способности ее матери. Тем более, что за разговором мы незаметно подошли к табору. Панька с Тоськой успели придти раньше и теперь смотрели на нас с понимающей усмешкой. И хвосту они натаскали много больше нашего. Подновленный костер жарко попыхивал, потрескивая сухими косточками веток, обдавая мягким теплом наши лица. Старуха, хоть и сидела ближе всех к огню, не отодвинулась от него, только молвила тихо:

— Ишь, какую теплоту запалили. Дров не жалко, што ли?

— Много дров-то натаскали, — оправдалась Тоська. — На всю ночь хватит.

Зара зачем-то ушла в шатер, а я смотрел на огонь и думал о том, что она рассказала мне по дороге. Все, что случилось с ней в жизни, не казалось мне страшным или непоправимым. О таком я слышал и раньше. И в наших местах дети не так уж редко оставались в сиротстве. Кому-то из них везло: попадались добрые люди или родственники — брали на воспитание. Других определяли в приют. Но были и такие, которые шли с котомкой по миру, жили тем, что бог пошлет. В судьбе Зары было необычным то, что она попала к цыганам, что приютили ее люди бездомные, которым и своих-то детей часто кормить было нечем. И еще, думал я, почему девушку зовут не русским именем. Ведь не могла она в семь лет не знать свое настоящее имя. Это настораживало меня. Да и с чернобородым было не все ясно. Больно уж не похож он был на брата Зары, пусть даже названного. И обращался он с ней совсем не по-братски. Неужели не всю правду сказала мне Зара?..

Голос старухи перебил мои мысли. Почуввав, что я стою где-то рядышком с ней, она поманила меня к себе. От прежнего русского склада речи, когда она заговорила, совсем ничего не осталось:

— Давай, дарагой, на жисть твою красивую, маладую погадаю. Всю правду скажу, век помнить будишь, — запричитала она, вскинув руки и как бы ловя меня в темноте.

Неосознанное чувство совсем детского страха проникло в меня, к тому же мне стало неловко перед Зарой, которая как

раз в это время вышла из шатра. Но Панька легонько подтолкнул меня к цыганке: давай, мол, чего ломаешься, не съест же она тебя. Зара тоже поощрительно кивнула мне и опустилась на свое привычное место рядом с матерью. Тоська подобрала в костер еще несколько сучков.

Я шагнул к старухе. И сразу ее цепкие руки приняли меня. Восковые пальцы быстро, едва касаясь, пробежали по моему лицу, ощущали плечи и, скользнув, нашли мою чуть подрагивающую руку. Цыганка с минуту изучала руку, пальцы ее медленно текли по ладони, запястью, снова по ладони. Наконец, она заговорила:

— Жить тебе в довольстве и счастье восемьдесят и три года, здоровым и добрым быть, иметь жену угодливую и верную, да три сына и дочку. Пройдет через твои руки богатство большое, но не очернит оно твою душу. И будет в жизни твоей перелом большой, но не своротишь ты с путей своих истинных, веру свою не потеряешь, а укрепишь ее и этим будешь угоден богу. Добрые знаки начертала судьба на руке твоей, близкий самый знак — дорога дальная. Она и приведет тебя к счастью...

С того момента, когда старая цыганка коснулась моего лица, и до ее последних слов всем телом и духом моим владело ощущение необычности, волны суеверия поднимались в моей душе, и мир раздвигал перед моим взволнованным воображением свои границы и тайны.

Признаюсь, по истечению многих лет я так и не смог освободиться от горячего впечатления, которое владело мной в те далекие минуты. Я безраздумно поверил тогда в старухины предсказания и до сих пор ищу в судьбе своей счастливые совпадения с пророчествами цыганки. И чем реже эти совпадения, тем большую цену приобретают они в моем сознании, тем щедрее раскрашиваю я их в розовые тона моей давней юности.

...Давно умолкла слепая старуха, а я, будто охваченный каким-то дурманом, с трудом различал лица Зары, Паньки и Тоськи. Может, дым костра застил мне глаза, может, воздушные замки будущего, в которые я начинал верить с этого вечера.

Потом цыганка гадала Тоське, говорила ей почти такие же слова, как и мне. Но я их не слышал. Моя судьба уже повела меня за собой в дальнюю дорогу.

Я еще не знал, каким будет мой завтрашний день, но я верил, что будет он добрым и удачливым. И это приносило мне радость, вернее, нетерпеливое ожидание этой радости...

Утром меня разбудил истощный бабий плач и жуткое слово «Война!», которое, как большая ядовитая гусеница, перекачивало свое желтое страшное тело из конца в конец нашей маленькой деревни. Войну принесло учительское радио, единственное в ту пору в Дубовке.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

Первый день войны Дубовка пережила по-своему. Когда схлынул бабий плач, горючей слезой омывающий вест о народном бедствии, деревня внезапно притихла. Только суетливые куры изредка вожаденно квохтали, откопав червяка в зарослях жирной крапивы, да глухо ботала кутасом охромевшая важневская корова Зорька, которую не взяли в стадо.

Но едва растаяли последние утренние дымы над трубами, деревня стала оживать снова. Дыма смусоленными козыми ножками, мужики по одному, по двое потянулись к Гордеевой избе, которая стояла на Крестах.

Крестами у нас звали середку деревни, где сходились дороги в Шимонино, Костоярово и Павлухино. Четвертая дорога шла в лес, потом сворачивала к реке, к мельничным омутам. На Крестах было просторно, как на поле. В праздники здесь дубовские мужики резались в подкидного дурачка, а девки и парни грудились на вытоптанном пятачке, лузгали семечки, бойко вели пустые разговоры. Летними вечерами на Крестах царствовал Колька Варнаков со своей веселого лада потехинской гармонью. Гармонью работы знаменитой артели братьев Потехиных владел в Дубовке один он. Досталась она ему от брата, погибшего в финскую при штурме линии Маннергейма.

Гармонью Колька гордился, пожалуй, больше, чем своим шикарным в мелкое колечко чубом — последним криком моды, пришедшим в наши края. И не одна только Дуська Мальцева, Колькина зазноба, страдала из-за этой потехинской гармони, плававшая в облаке седой пыли, выбивая дробь в такт ее веселым переборам. Несмотря на молодость, Колька

был чуть ли не самым званым гостем на всех дубовских свадьбах. Из-за этой гармонии он рано научился пить, рано спознал с жаркой девической лаской. Дуська, которая была старше его на два года, прочтала ему все в тайной надежде, что рано или поздно он возьмет ее замуж. А жениться Коляка не торопился, хотел нагуляться вволю, прежде чем сунуть кудрявую вольную голову в семейный мужичий хомут.

В это утро на Крестах собрались все дубовские мужики и холостяги. Ждали военного указа из района или другой какой вести. Все понимали, что указ должен быть, что война не минует Дубовку, возьмет от нее свое. Но никто толком не знал, какая такая сила пошатнула жизненное равновесие, надолго ли и ценной какой людской крови придется устанавливать прежний мир.

В наши места и раньше доходили слухи, что германец готовится к войне с Россией, что он для этого завоевал соседские с нами земли. Но с нами будто бы он жил в мире. И вот сейчас обманом напал на нас, даже войну не объявив, как это по международным законам полагается.

Обо всем этом в который раз обсказывал мужикам квартирант Гордея Мальцева школьный учитель Донат Иваныч. То и дело поправляя спадающие с носа очки с поломанной дужкой, он копошился над своим стареньким радиоприемником, выставленным для общего обозрения на подоконник. Приемник хрипел, трещал, свистел, но говорить отказывался. Наконец, Донат Иваныч нашел подходящую волну и, прижав ухо к затянутому желтым материалом отверстию, дал громкость. Вырвавшийся будто из-под земли голос сразу подвинул мужиков вплотную к Гордеевским окошkam: «...советские пограничные части ведут ожесточенные неравные бои с превосходящими силами противника...».

— Это как же превосходящими? — дернул бородкой Кирилл Важнев. — Али у немца и вправду сила больше нашей собралась?

— Тут элемент внезапности роль сыграл, — по-ученому ответил Важневу Донат Иваныч. — Не ждали, видать, наши нападения-то. А немец мирным прикидывался, вот и вышло так...

Против такого довода Важнев возразить не мог. Он поскреб пятерней лысеющий затылок и хмуро заковылял к

дому. Кто-то из холостяг бросил сквозь зубы:

— Хорошо тебе, черт колченогий, рассуждать-то. Мы кровь проливать пойдем, а ты под подолом бабы отсидишься.

— Никшни, пашшонок, — оборвал парня Гордей. — Кирилка свое отвоевал. Он ерманца в ту войну бил, когда тебя твой батька и в замысле не держал. А ты — отсидишься!

На этом обсуждение военного вопроса кончилось, и мужики помаленьку стали растекаться по домам.

Возле дома дядьки Гордея остались только малые ребятишки да кое-кто из наших с Панькой ровесников. Какая-то сила, большая, чем любопытство, удерживала нас на Крестах. Мы по-прежнему толклись возле Доната Иваныча с его покашливающим коробком, ожидая новых вестей с войны, вестей о геройстве наших солдат, вестей, что враг остановлен и отброшен за пределы нашей земли.

Военный указ пришел в Дубовку к вечеру, когда деревня начала полниться пьяными мужичьими голосами, изредка прерываемыми упокойным бабьим подвывом и горьким всхлипом. По старому обычаю у нас загуливали не только от большой радости, но и от большого горя.

Указ в деревню привезли двое: молодойенький военный в новой гимнастерке с треугольниками в петлицах и полный гренадерского роста мужчина с кожаным портфелем и кислым отечным лицом.

Тарантас, запряженный сытым жеребчиком, лихо подкатил к сельсовету в поисках местной власти. И хоть деревня весь день ждала уполномоченных из района, их приезд застал ее врасплох. Сама местная власть, Проня Большанчиков, истомившись ожиданием, к вечеру напился до положения риз и в эти суровые минуты почивал дома в цветастом пологу, ткнувшись рыжей щетиной в смятую сатиновую подушку. Его в этот вечер так и не смогли добудиться, и люди из района, плонув на все, пошли спать к бабке Попихе. Попиха в честь знатных гостей разговелась четвертью самогона, но те, приняв перед ужином для аппетита по стакашку, больше пить отказались, чем и привели старуху в немалое удивление. Районное начальство, которое оставалось у нее на ночлег и в прежние времена, от выпивки никогда не отказывалось.

На другой день раным-ранехонько, когда гости еще спали, как после сказы-

вала Попиха, к ней заявился Проня. Он виновато моргал опущенными веками и торопливо, будто оправдываясь, говорил ей, разводя по-бабы руками:

— Понимашь, какая оказия-то вчера свершилась. Перебрал я, значитца, с горя-то.

Говорил так, будто в этот момент его председательская судьба целиком и полностью зависела от бабки. Как она решит, так тому и быть. Попиха, посочувствовав Проне, плеснула ему в кружку первача, кой он и осушил единым дыхом, предварительно покосившись на неплотно прикрытую дверь горницы, за которой пробуждалось начальство.

А в это время по дворам суматошно металась две дочки Большанчикова, настропаленные отцом, скликая народ на собрание. В том, что собрание должно быть, Проня не сомневался.

В просторной сельсоветской избе скапливались мужики. Баб поначалу было меньше, не все успели управиться по хозяйству, накормить деток. Самой первой пришла в сельсовет Дуська Мальцева, уселась на широкий подоконник и, лущая семечки, стала перекидываться взглядом со своим хахалем Колькой. Колька заметно важничал. Засмолив козью ножку, присев на корточках возле печки, он дымил наравне с мужиками, изредка встревал в общую беседу.

Ко времени прихода уполномоченных сельсовет был битком набит народом. Кроме взрослых, мимо ведущего догляд за порядком на добровольных началах деда Мокея выюнами проскользнули ребятишки. А те, что покруней, прошли сами, безо всякого спроса.

Собрание открыл Большанчиков. Напустив на себя серьезность, которая так не шла к его вялому и скромному лицу, он оповестил людей о напряженности текущего момента и передал слово толстому начальнику в гражданском, назвав его членом исполкома райсовета товарищем Поляшовым.

Поляшов нашарил в нагрудном кармане очки, повертел их в руках, но так и не надев, начал речь. Говорил он долго и невнятно. Из его слов поняли одно, что почти на всех молодых мужиков и парней призывного возраста пришли повестки на фронт. А кому эти повестки пришли, Поляков не называл, и этим вызвал большое волнение и шум.

— Ты скажи, кому в службу собирать-ся, — не выдержала Дуська. — Насчет войны мы и сами знаем.

Дуську поддержало все собрание, даже Большанчиков и тот согласно закивал головой: мол, дело говорит девка.

И тогда поднялся военный. Выждав, когда поутихнет шум, он раскрыл полевую сумку и сказал коротко:

— Получите повестки.

Первой была названа фамилия Кольки Варнакова. От неожиданности Колька выронил самокрутку и сипло спросил, обращаясь ко всему собранию:

— Это меня, значит, ядрена феня? — И нелепо взморгнул глазами.

Придавленно хихикнул кто-то из подростков, но, получив затрепину, сразу смолк. И тогда в короткой ненадежной тишине по-бабы, навзрыд, заревела Дуська. Потом в лад с ней заголосила старенькая Колькина мать.

Уполномоченный военкомата сухо кашлянул в кулак и почти выкрикнул следующую фамилию:

— Воркунов Дмитрий Иванович.

Кривоногий Митрий, посторонив мужиков, подошел к столу, взял бумагу. Ни одна жилка не дрогнула на его смуглом, изрытом оспой лице, только крутые сильные плечи чуть пообвисли. Он сурово глянул на метнувшуюся было к нему жену Прасковью, сказал негромко:

— Воевать с немцем все одно доведется. Так что седи али завтра — один хрен, — и, покачиваясь могутным телом, пошел на место.

Потом к столу вызвали кузнеца Дениса. Он выгреб из рук военного повестку, хотел сказать что-то, но смолчал, только обвел всех прощальным взглядом, будто прямо сейчас, отсюда, уходил на войну.

В этот день повестки получили одиннадцать дубовских парней и мужиков. А через неделю в Дубовку пришло еще две повестки — Федору Маслохину и моему отцу.

Не минул еще и первый месяц войны, а уже опустела без мужиков деревня. Во многих избах за старших остались парни, мои погодки, которым едва исполнилось семнадцать лет.

А время подошло к сенокосу, поспела вместе с земляникой луговая трава, вытащил из скрадка загода припрятанную косу пастух Афоня и, пройдя по тронутому ржавчиной жалю брусом, потихоньку стал выкашивать сбереженные им от потравы укромные местечки. И потому без его зоркого догляда все чаще стала отбиваться от стада блудная корова бабки Попихи, за что и терпел Афоня чуть ли не каждый вечер всякие руга-

тельные оскорбления от ерепенистой старухи.

Сенокос мы уговорились управлять вдвоем с Панькой. Так было сподручней. Стаскивать копны к остожью и метать стог — работа и для двух мужиков тяжкая. Стаскаешь копешек десять и уже ладом упаришься, в руках носилки не держатся, к земле так и тянут. Панька заметит, что у меня ноги начинают заплетаться, к новой копешке подойдем, норовит носилки подальше в мою сторону просунуть, груз на себя побольше взять. А мне обидно вроде бы, а молчу, иначе совсем толку не будет. Хорошо, что нам изредка помогала моя мать, урывая часок-другой после работы в колхозе.

Управлять колхозный сенокос без мужиков было тоже нелегко. Хоть и осталось к этому времени в дубовской колхозной артели «Парижская коммуна» всего пять рабочих лошадей да чуть больше десятка дойных коров и нетелей. Кормов на зиму им требовалось не так уж и мало. А зима эта, если верить старикам, собиралась быть ранней и долгой.

Перед самым сенокосом надумал Панька свести на базар корову. Какой бес его в ребро толкнул — неведомо, только уперся он на своем: продам и продам. Мать моя его отговаривать давай: мол, пропадете вы с Ваняткой без коровы-то, мол, в крестьянском доме молоко первое дело, от него и жиры и самая сытость. Только не захотел Панька маму слушать, уж больно, видать, уход за коровой ему поперек горла встал. Понять его можно было: маяты со скотиной много да и на чужих людей уход за ней сваливать — не дело, а сам он не поспевал другие дыры по хозяйству затыкать.

И, наверно, продал бы Панька корову, если бы Тоська не воспротивилась. У нее из-за этого чуть ссора с ним не вышла, но дело добром кончилось — уступил Панька.

Наделы для покоса за каждым дубовским двором закреплялись в давнее время, почитай, чуть ли не с начала коллективизации. Именовались они у нас чищобами. Вроде, не очень грамотно, но по сути самой справедливо. Колхоз, как заглавный хозяин, выбирал себе для покоса места попривольней, поразмашистей, с хорошей луговой травой. Почти вся пойма Елдежика да и других ближних речек была в его руках. А колхозникам для личного пользования отводились места или вконец

запущенные, или пенек на пеньке да кочка на кочке, где и косой-то как слезает не размахнешься. Расчет был верным: как ни положи, мужик-то ко своему всегда больше радеть будет, в какой передовой колхоз его не определи. Он свою-то деляню на брюхе выполняет, каждую малую кочку зубами повыдерет. Вот отсюда и пошли чищобы-то: как хочешь считай — от мужика или от колхоза.

Чищоба Рохмистровых была поближе нашей, выходила она по Миколину вражку на пойму Елдежика. При жизни Панькиного отца держалась чищоба в хорошем обиходе, в погодистое лето накашивал на ней дядька Петр по восемь зимних возов, а то и больше. Таким сенокосом прокормить можно было убористую корову и еще телку, запущенную в племя. В последние годы чищоба подзапустилась, заросла по краям жестким белоголовником и островками плотной резучей осоки. Косить осоку было одно удовольствие, под косу она шла легко и сочно, но проку, как от корма, от нее было немного. Корову ее больше под себя втаптывает, чем ест.

Покос мы начинали отсюда. Свалили траву успевали дня за четыре, косили почти не разгибаясь. Панька приладилась косить отцовской косой, у меня коса была полегче, и захват у нее был поменьше. Но урабатывался я, пожалуй, пошибче Паньки. Правду мне тятя говорил, когда к сенокосному делу приучал, что коса-свистулька за день хуже тяжелой руки надергает, ежели к ней сразу не прировнишься.

Первые три-четыре покоса я шел за Панькой почти не отставая, изредка взглядывая на его мосластую загорелую спину, на мерныймах плеча. На прокошенной стернинке, будто лыжня, за Панькой тянулся продавленный до ржавой мокрети след. Неторопливо вжикала коса, жукой ныряя в густой, обдутой ветром траве. Когда я начинал помаленьку приотставать, Панька замечал это и, давая мне передохнуть, долго вострил косу наждачной лопаткой. Я понимал его нехитрые уловки и после дарованного отдыха косил зло и поспешно. И уматывался пуще прежнего.

Ближе к обеду, когда начинало морить солнце, на часок-другой прибегала моя мать, прытко шуруя черным граблем, разбивала вчерашние, уже схваченные сушью покоса в тонкий слой, потом так же скоренько убегала на колхозную

пожню, благо была она совсем не далеко.

К вечеру, если погодило, трава успевала хорошо подсохнуть, и мы с Панькой сгребали разбитое сено в копны. Делалось это на случай дождя. Потом, когда надо было метать стог, это сено мы снова раструсивали возле остожья, и оно доспевало на залитой солннышком вышинке. В эти короткие часы мы отдыхали возле крытого корой и берестой шалаша, кипятили в прокопченном стареньком котелке буроватую болотную воду, заваривая ее духмяным смородиновым листом.

Я любил эти блаженные минуты отдохновения тела. Вдоволь напившись чая, притулившись в теньке, я подолгу глядел в безоблачное опоенное синью небо, потом медленно переводил глаза на землю и видел, как над разворошенным вокруг остожья сеном курятся голубоватые струйки воздуха и жирные лупоглазые стрекозы, мелко перебирая крыльями, почти неподвижно висят в его колеблющемся свете. Если поднапрячь слух, то можно расслышать шестест стрекозных крыльев, который похож на шестест спелого сена, когда его легонько ворохнешь вилами. Есть в этом шестесте что-то и от звона полевых колокольчиков, которые готовы под первыми же порывами ветра сронить на землю свои пожухлые угольчатые колпачки.

Из полудремотного мечтательного состояния меня выводил Панькин голос:

— Пора бы и сено ворошить, вишь, как парит.

Поглядев из-под козырька ладони на расплавленное, поднявшееся в самый зенит солнце, он заключал с мужичкой деловитостью:

— Так што поторапливаться надоть, а то стог засветло не смечем.

На Панькиной чищобе мы ставили два стога, воза по четыре каждый. Завершив дело, переходили на наш покос, и все начиналось сначала. Свалив траву, снова опасались дождя, боясь сгноить сено, и от темна до темна, не жалея сил, управляли трудную крестьянскую работу.

В дни сенокоса я ни разу не виделся с Зарой, хотя знал, что табор за это время никуда не съехал. Едва доволочив ноги до дому, наскоро поужинав, сразу заваливался спать, чтобы утром, почти затемно, снова идти на пожню. Совсем не по-хозяйски, я втайне надеялся на дождливый день, который мог бы задер-

жать меня дома. Уже тогда-то я постарался бы увидеть Зару, поговорить с ней обо всем. Но дождя, как на зло, не было...

Цыганский табор обычно задерживался в наших местах по месяцу, а то и больше. Пока десяток раз не обойдут цыганки все соседние деревни, пока совсем не надоедят народу своими гаданьями и попрошайничеством, с насиженно-го места не снимутся.

Известие о войне, казалось, не произвело на цыган никакого действия. С самого раннего утра цыганки мели длинными подолами пыльную дубовскую улицу, заговаривали с знакомыми бабками, которые жалостливее других отнормились к черномазым маленьким цыганятам, лепившимся, словно мухи, возле цыганских юбок. Сердобольных баб, да к тому же слепо верящих в ворожбу, в деревне было в достатке, поэтому цыганки никогда не рисковали остаться без хлеба и шматка сала. Подавали и платили им щедро.

С особенным усердием ударились в ворожбу теперешние солдатки. Хоть и малый срок бабьего одиночества пережили они, но неосознанный страх перед будущим временем уже начал беспокоить их души. И беспокойство это требовало теперь освобождения и ласковости, пусть даже равной обману, если этот обман хоть немного поддерживал горькую бабью веру в скорое возвращение мужа.

О том, что война долго не протянется, думали все. Не может ведь немец осилить наш большой народ, и придется ему в скором времени уступить и уйти подбру-поздорову в свою землю. Да и где уж ему долго выдержать, ежели столько мужиков только из одной Дубовки на войну ушло.

Но радио Доната Ивановича, которое старому учителю удалось кое-как наладить, доносило с фронта безрадостные вести. Наши войска отступали, отдавая немцам один город за другим. И хоть радио говорило, что в ожесточенных боях истреблено много тысяч солдат Гитлера, но и наших, видать, полегло немало.

В середине августа в Дубовку пришло первое письмо с войны. Было оно от Митрия Воркунова. Письмо это читали всей деревней, каждому хотелось узнать, что делается на фронте, как там живут-воюют дубовские мужики. В том, что все наши попали в одно место, никто не

держал сомнения. Первым это обсказал опять же дед Мокей, и бабы ему поварили. Как-никак, ему довелось уже воевать с немцем в мировую-то, он военный порядок знает. А Мокей смотрел на это дело так:

— Нас в четырнадцатом годе с Кирилкой Важным всю войну вместе держали. В одном окопе задницы студили. И ранетые мы одним днем были: он в ногу, а я...

— А ты в ж... — попробовала было урезонить не в меру болтливую мужа Авдотья. Да куда там: Мокей разошелся — не остановишь:

— Так вот, значитца, командиры, оне считают, что мужики-то своей деревней прятче всего воюют. А все оттого, что друг за дружку крепко держатся: брат за брата, сват за свата...

После прочтения первых же строчек Митриева письма все доводы деда Мокея рассыпались в прах. Воркунов писал:

«С нашими я виделся последний раз перед самой отправкой на фронт. Всех нас определили в разные части, а куда кого увезли — не знаю...».

После этих слов Мокей почесал в затылке и тихо пробормотал:

— Вон оно ноне как, значитца...

А письмо читали дальше:

«Скоро месяц минет, как я на войне, а живого немца пока не видел, в боях не был. Но идут разговоры, что скоро на передовую...».

Письмо было коротким. Половину его занимали поклоны родным и семье. И хоть в нем не было прописано того, о чем так хотелось узнать дубовским бабам, оно принесло короткое успокоение. Если Митрий был жив, выходит и с другими все пока ладно. Случись с кем плохое, пришла бы весть.

В первый же день после сенокоса я наведалься в табор. Пошел один, надеясь поговорить с Зарой с глазу на глаз. Если удасться, сходим на бобринные гати.

Пришел я в самое время. Стоило мне опоздать немного, не увидел бы я больше Зару. Табор готовился к переезду в новые места. Два шатра из трех были уже сняты, на их месте торчали глубоко посаженные в землю колья да желтели пятна придавленной сопревшей травы. Зара вместе со своим названным братом хлопотала возле повозок, складывая в них нехитрый цыганский скарб. И только старая цыганка, как и прежде, сидела у дотлевающего костра, изредка попыхивая короткой трубкой.

Окликнуть Зару я постеснялся, но она сама заметила меня и, уловив минуту, подошла попрощаться.

— Уезжаем вот, — заговорила она, потупив глаза.

— Далеко ли?

— У цыган сто дорог, и все к одной доле, — уклонилась Зара от прямого ответа. А может, она и впрямь не знала, куда снимается табор.

Увидев мое погрустневшее лицо, Зара тихонько спросила:

— Почему долго не приходил? Я ждала тебя, все глаза проглядела.

Мне стало хорошо от этих простых и откровенных слов, и я не знал, что сказать ей в ответ. Неожиданно я решился:

— Пойдем погуляем недолго, а?

На цехах Зары проступил горячий румянец:

— Не время сейчас. Да и Думитро заругает.

— А ты у матки спросись.

— Не пустит.

— А ты спросись.

Зара подошла к слепой старухе, склонилась перед ней на колени и что-то зашептала ей в ухо. Старуха согласно кивнула головой.

— На минутку только, — сказала мне Зара и потянула меня за рукав.

Я покосился в сторону Думитро. Он возился с упряжью и, казалось, не замечал нас. А может, делал вид, что не замечал.

По узенькой тропке мы отошли от табора шагов на двести. Идущая впереди Зара неожиданно остановилась, повернулась ко мне лицом и долгим пристальным взглядом посмотрела прямо в глаза. Потом подошла ко мне так близко, что я почувствовал запах ее волос и обжигающее дыхание. С минуту она еще смотрела на меня и вдруг будто маленького ласково погладила по волосам и властно, по-женски, поцеловала в губы.

— Вот мы и простились, — прошептала она и неторопливо пошла в табор.

Я хотел было пойти за ней, но Зара остановила меня взглядом и чуть ли не бегом бросилась по тропинке в молодой ельник...

Теперь, много лет спустя, когда кто-нибудь из моих близких друзей вспоминает о своей первой любви, я будто наяву вижу эту узкую лесную тропинку и убегающую по ней Зару в длинном цветастом цыганском платье. И я бываю счастлив в эти минуты. Счастлив пото-

му, что и мне не было отказано в этой жизни в первой любви, в первом, исполненном неясной тревоги девичьем поцелуе.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

Глубокой осенью, когда леса уже дочиста сронили багрец, когда низкие тучи стали потихоньку набухать снегом, в Дубовку пришли две вести. Одна из них, горькая, потянула всю деревню. Испуганная, по малолетству ничего толком не понимавшая, почтальонка Ньюшка Крохалева принесла похоронную в семью Варнаковых. Почти совсем не грамотная Колькина мать дрожавшими руками взяла казенный желтый листок и долго, шевеля беззвучно губами, старалась вникнуть в смысл печатных букв. Ньюшка подсобила прочитать ей главное: «Ваш сын, Варнаков Николай Егорович, пал смертью храбрых в боях за Советскую Родину».

Сухонькая, жидковолосая Парасковья Варнакова с ненавистью уставилась на Ньюшку, поняв из ее слов только одно — «смерть». Через несколько минут ее уже отхаживали плачущие навзрыд дочки и прибежавшая на крик Мокеева старуха. А у порога, омертвевшая от накатившегося на нее страха, стояла Ньюшка Крохалева, вестница первой смерти, пришедшей в Дубовку с далекой войны.

Второе известие было о Горбаче. Его выпустили из тюрьмы досрочно. Об этом он прописал домой. И еще в письме было написано, что в Дубовку он пока приехать не сможет, так как его сразу же отправляют на фронт.

Об этой новости тоже толковали повсюду. Одни говорили, что власть решила по справедливости, а то, мол, для кого война бедствие, а для кого мать родная. Кто кровушку свою проливает, а кто на нарах штаны протирает. Другие смекали, что, видно, на фронте и впрямь плохи дела, если малосрочников туда гонят. И в Дубовке опять же по второму заходу почти всех мужиков взяли. Уцелели только Проня Большанчиков по причине своей сухорукости, хромой Кирилл Важнев да старики с подростками. Кирилку из кладовщиков выдвинули в председатели колхоза. И теперь он с утра до поздней ночи, будто подбитый тетерев, метался по деревне, то скликая народ на работу, то еще по

какой нужде. Трудновато давалось ему, в общем-то тихому и ненастырному мужику, руководство над бабами. Да и колхоз за эти месяцы как-то сразу отощал, потерял всю свою видимость. Хлеб в это лето совсем худой уродился, с государством рассчитаться и то не хватило, не то что на трудодни выкроить. А вот лен, тот удался. И хоть погноили его малость при выстилке, но план по льну выполнили, даже себе запас кое-какой сделали. И все-таки лен не хлеб, им семью не прокормишь. Потому и пугала наступающая первая военная зима дубовских колхозников, потому и вводила она в постоянное уныние и расстройство председателя «Парижской коммуны».

Паньку Рохмистрова на войну пока не брали, хотя ему и вышел призывной год. Учитывали, что, кроме него, воспитывать малолетнего Ванятку некому. Со свадьбой у него в эту осень не сладились. Мать Тоськи уговорила дочку повременить хотя бы одну зиму, а там, мол, видно будет, как это дело-то повернется.

Если рассудить здраво, то Тоськина мать была права. Стоило им с Панькой пожениться, его сразу же заберут на фронт, и останется она, Тоська, с первых же дней молодой солдаткой да еще с чужим дитем на руках. А потом, глядишь, и свое дите выспеет. Тогда уж совсем беда. Так вот бабья догадливость и хитрость Устиньи помогли ей взять верх над помыслами своей неуступчивой дочери, так вот и отвела Устинья Ветрова хотя бы на время грех со своей сторожкой и припугнутой мужем души, грех, который никогда бы не простил ей Горбач. Не исполнить его наказ она боялась больше смерти.

Тоська пошла на уговоры своей матки, чтобы сберечь возле себя Паньку, не зная, какое горе она ему этим принесит.

Узнав, что свадьбы пока не будет, Панька сначала осерчал на Тоську, но та не высказала обиды, а стала к нему еще ласковей и приветливей. На все Панькины слова об этом она говорила одно:

— Разве токо в замужестве дело? Я и так тебя люблю пуще бабы другой замужней. Куда я от тебя денусь-то, дурачок мой поспешливый.

Это утешало Паньку, но ненадолго. В любви он Тоськиной не сомневался, но надумался за эти дни всяко. Как-то под вечер он пришел к нам хмурый, но весь какой-то подобранный.

— Где matka-то? — спросил он уже с порога, заметив, что в избе, кроме меня, никого нет.

— Пошто она тебе?

— Да так, разговор один есть.

Мама доила корову и скоро пришла. Панька, выждав, когда она процедит молоко, выставит кринки на залавок, сказал прокашлявшись:

— Так што я, тетка Кать, о Ванятке спросить пришел.

— А чо с ним? — из-за кухонной переборки откликнулась моя мать. — Захворал, што ли?

— Да не...

Мама вышла из кухни, вытирая подолом руки.

— Надумал я на войну идти. Годки-то мои воюют давно...

Мать горестно посмотрела на Паньку:

— Придет черед, и ты навоюешься... Кольку-то вон убили, совсем молодой был.

— Я насчет Ванятки, тетка Кать. Большенький он уже, сама знаш, много догляду не нужно. Да и послушный — некому баловать-то было...

— Чо ты мне Ванятку нахваливашь, не на базаре чай.

Паньке показалось, что мать соглашается, глаза его обрадованно блеснули:

— О корме, тетка Кать, беспокойства не держи. Муки у меня больше мешка ишшо с прошлого года осталось. И пше-на с полпуда...

Но мать, внезапно посуровев лицом, обрвала Паньку:

— Ты ко мне мукой да пшеном дорогу не посыпай. Мы вашему семейству не чужаки какие. Ежели будет надобно, я Ванятку и без муки возьму. Как-нибудь перемаемся, а умрем с голоду, так вместе.

Потом мать тяжело опустила на лавку и заговорила раздумчиво:

— А по делу, Панька, я тебе вот што скажу: не ладно ты удумал, не ладно. Ты прытко из-за Тоськи кипятишься, мол, у матки на поводу идет. А ты ее бабью душу понял, што хочет она, уразумел? Я вот скоро старухой стану, а, думащ, легко было мне Прохора своего провожать, а? Да и сынок подрос — со дня на день повестку жди.

Панька взялся за шапку, шагнул к порогу:

— Ты миня, тетка Кать, извиняй, ежели што.

Он уже открывал дверь, когда мать остановила его:

— Ты бы до весны повременил, куда сейчас в зиму-то... На днях Кирилка сказывал, што бригадиром тебя поставить думают.

— Ишшо я над бабами не командовал? — огрызнулся с порога Панька.

— На это тоже толк нужен, — урезонила его мать.

На этом у них разговор и закончился.

Зимой у колхозников артели «Парижская коммуна» работы было втрое меньше, чем летом. Хозяйство у колхоза не ахти какое, разве что уход за скотом какого-то усердия требовал, а так — полезай на печь да бока грей или свои заботы справляй. И бригадирская должность в зимнюю пору не накладная. Знай следи, чтобы сено к ферме да к конному двору вовремя подвозили, ну и дровишки тоже, ежели переведутся.

Но Паньке бригадирство далось нелегко. Раньше-то как: что за сеном, что по дрова — все мужик ездил. А теперь где взять мужиков-то? Поглядит Панька, как бабенки с лошадью маются, выматерится от бедности слов, перепряжет конягу и сам в сани: за сеном, так за сеном. Так дело и шло. Сколько раз проклинал он свое чертовое бригадирство и колченого Кирилку, который навялил ему это дело, но отказаться от него так и не смог.

Зима в сорок первом году выдалась лютая. Сначала снегу подвалило, потом морозы с метелями накинудились. Дороги все перемело: не пройти, не проехать. Одна дорога к леспромхозу торной была, по ней дубовские не по одному разу каждый день ходили да ездили. То за хлебом, то по другой какой нужде. Да и с районом связь поддерживалась.

С хлебом в Дубовке стало совсем плохо. Особенно с той поры, как ввели карточки. Карточки получали не все семьи, а только те, в которых кто-то работал в леспромхозе. Да и этот скудный хлеб разве мог прокормить многодетные дубовские семьи.

До сих пор не знаю, кто из наших первым протоптал дорожку к заволжскому хлебу. Да и важно ли это. Только прошел слух, что за Волгой в Сельской Мазе да в Лыскове с хлебом привольно и что можно выменять нашу дубовскую поделшину на муку и другое жито с большим прибытком. И снарядился тогда первый наш обоз в недалекие те края.

Летом в Мазу, а хоть и в Лысково по суху да по дорожью добрый конь за

день дойдет, а в зиму туда каждая верста с криулем. Но дубовские бабы народ не пугливый: сблизь они в компанию, нагрузили санки лопатами да корытцами выше облука и айда в горную местность на меновую торговлю. По три дня кряду через пургу и заносы пробивались они в хлебные края, в Заволжье, заседланные в санки с круто гнутыми копьями, пробивались с торопливыми ночлегами в попутных деревнях, с мерзлой горбушкой сыромятного хлеба в тряпице.

Была в этом первом обозе и моя мама. Проводы ее мне позабылись, но зато возвращение я никогда не забуду. Помню крик взбудораживший всю деревню:

— Бабы, бабы едут!

И длинную, растянущуюся по всему полю цепочку, укутанных наглухо в суконные шали дубовских баб, впряженных в шестипудовые возы удачливо добытого хлеба. Я бросился тогда встречать мою маму, облаченный в один легкий пиджачишко, и долго бежал ей навстречу, сбиваясь с тропы и увязая чуть ли не по колено в затаянном ломкой коркой снегу.

Мать, заметив меня, прибавила было шагу, потом, ослабив веревку, бессильно опустила на облук подкатившихся санок, прошептала:

— Дай мне передохнуть, сынок.

Так мы стояли минуты две-три, пока к нам не подтянула свой тяжелый воз Дуська Мальцева, потом я налег на веревку и, с трудом отодрав примерзшие к дороге полозья, поволок санки к дому. Мать, едва передвигая ноги, плелась сзади. А навстречу обозу все еще бежали вместе с малым народом давно отвыкшие от скорой ходьбы старики и старики, чтобы хоть самую малость помочь своим родным.

И только Дуську Мальцеву никто не встречал. Отец ее, старый Гордей, третью неделю валялся в постели и теперь уже прощался с миром, не чаяв дожидаться дочку в это метельное время. Донат Иванович поддерживал тепло в Гордеевой избе, но он не мог поддержать угасающую жизнь старика.

Может, в тот раз я впервые подумал о истинной цене заволжского хлеба, но все мои невеселые мысли смешало тогда счастливое возвращение матери. Оно принесло в наш дом спасенье от неминуемой нужды и бескормицы и новое, еще неизведанное мной раньше душевное успокоение.

В студеные декабрьские дни 1941 года люди все чаще собирались в осиротевшей избе Гордея послушать учительское радио. Чутко вслушивались в каждое слово о войне, стараясь понять и оценить несильным деревенским умом самую суть военных событий. Главным толкователем сражений на фронте был Донат Иванович. Бывало, что и дед Мокей встречал со своими соображениями, но его мало кто слушал, и Мокей обиженно умолкал, сердито попыхивая толстой самокруткой.

В один из вечеров радио заговорило особо торжественно. Информбюро сообщало о разгроме немецких войск под Москвой. Назывались цифры убитых и плененных солдат Гитлера, перечислялись военные трофеи.

Случилось так, что в этот раз никто, кроме старого учителя, не слышал этой передачи. И Донат Иванович, раскрутив звук коробка на полную силу, с опасной для его годов живостью бросился на улицу скликать народ. В накинутах наспех ватнике, без шапки, дыма седым волосом, он добежал до избы Важневых и выкричал с передыхами радостную весть Кирилке. Тот сперва растерянно слушал учителя, потом спросил:

— Так што, народ собирать али как?

Донат Иванович, будто застеснявшись излишнего переполоха, пошел к двери.

— Народ, он и сам соберется. Весть-то какая!..

— Ты погоди-погоди, — заторопился Важнев, ища рукой рукав полшубка. — Я счас, слышь, погоди.

И поспешливо заковылял следом за Донатом Ивановичем, окликая людей в избах.

Морозная ночь вывездила небо над Дубовкой. Где-то далеко под Москвой крутой русский мороз хлестал ошметки растрепанных немецких дивизий, загоняя в белую снеговую могилу недобитых фашистов, а в Гордеевой избе сурово погромычивало радио, счастливо плакали от нового душевного потрясения слабые на слезы дубовские бабы.

Хлеб, привезенный матерью, помог нам продержаться всю зиму и весну. В ржаную крупную помолу муку мать добавляла больше чем наполовину тертую картошку, и хлеб получался черный, немного не пропеченный, но все-таки сытный. Чем ближе была весна, тем больше картошки добавлялось в хлеб.

А зима лютвала. За крещенскими морозами ударили еще более злые сре-

тенские. В такие дни редко кто выходил из дому, разве что по крайнему случаю. Занятия в школе отменили до первого потепления, и школу так разморозило, что потрескались почти все окошки и зайти в нее было страшно. В эту зиму ко всем бедам добавилась еще одна. Неожиданно освирепели волки. Голодными стаями они все чаще стали появляться возле деревни, потом, осмелев, однажды ночью пробрались в старенький хлев деда Мокея и порешили годовалого телка, которого Мокей собирался пустить в племя.

Стали остерегаться волков и люди. Как-то днем стая до смерти перепугала глухого и придурковатого Филю, когда тот справлял на Пирате сельсоветские дрова. Тут уж Пират сполна отомстил своему тяжелому на руку хозяину. Когда Филя заметил идущую на рысях стаю, он поначалу понадеялся уйти от нее и изо всей мочи стал пластать парную спину мерина длинным ухватистым кнутовищем. Пират было взбодрился от побоев, но по слабости своего стариковского зрения совершил ошибку, которая чуть не стоила жизни Филе да и ему самому. На прытком ходу он сорвался с хорошо наезженного санника в сторону и по брюхо увяз в сугробе. Случилось это поближе к лесу, волки сделали бы свое кровавое дело, но налететь на лошадь и взбесившегося от страха возчика на середке поля да еще на виду у деревни они не решились. Обошлось тем, что Филя набрал полные штаны страха, а по прибытию домой попросился у Прони Большанчикова на работу полегче, обложив его при этом всеми матерными словами. Проня посочувствовал неудачливости Филя, но ничего путного сделать не обещал. Так что не сгаснувшую до конца злость возчик опять-таки сорвал на бедном Пирате.

Через неделю после этой истории с волками безвестно пропала бабка Попиха. Пошла по божескому делу в Павлухино и пропала. Павлухинские богомолки сказывали, что сразу после службы заторопились Попиха домой, чтобы успеть засветло. Да вот не успела, хотя от Павлухина до Дубовки и стариковского ходу на полчаса всего будет.

До другого дня бабки никто не хватился, а когда узнали да пошли искать — все без толку. Ночью-то снега на ладонь навалило, разве что усмотришь. Поискали-поискали да все на волков и сперли. Они, мол, окаянные, кому же еще.

А по весне, когда таять начало, меньшой сын Воркуновых Колочья на лыжах на Попиху наткнулся. Поехал покататься на Высокую Гриву и наткнулся. Самую малость она до дому-то не дошла, у дубовских огородов сгубла. Кто ее надоумил, старую, впрямки по тропе идти? Вот и сбилась. Видать, подзанесло тропку-то, спгнула, поди, а выползти силы не хватило. Совсем ослабла в этот год Попиха-то, а тут еще к богу на поклон идти надумала. Так и пришла.

Весна в наши края обычно приходит ранняя и дружная. Будто знает, что забот на ее долю здесь в достатке. Пока-то она весь снег на полях приберет, из овражков да болотин повыметет, из-под елок косматых повыгребет, глядишь, время к севу и подойдет. Оплотай тут колхозник хоть на неделю, весь год без хлеба сиди. Землица у нас капризная: недоберет влаги — урожая не жди, переберет — тоже беда. Так вот и ищут дубовские всю жизнь золотую середину, а найти не могут. Хорошего урожая на хлеб у нас, почитай, с начала тридцатых годов не было. И навозом земли сдобривали, и золой посыпали — всяко пробовали, а вот не родит доброго хлеба, и все тут. А о хлебе после такой голодной зимы приходилось думать всерьез. Потому и озаботился так в эту весну Кирилка Важнев, потому и велел скликать народ в контору на общее собрание.

Вопрос поставили один:

— Как готовиться к посевной?

Важнев был по нему главным и единственным докладчиком. Маленький, косоплечий от долголетней хромоты, он встал за столом, обвел колхозников успокоенным взглядом, уже почуяв свою пусть даже малую власть над народом.

— Вот што, бабы, скажу вам: без хлеба нам никуды. У государства мы, значит, в долгу, а оно свое требует. Время-то ноне, сами глядите, вона како. Жись нашу решает. На войне мужикам не сладко, и нам тут хоть задавись. Так што, давайте рассуждать...

Важнева слушали. Может, потому, что начал он говорить без напора и о том, против чего возразить было нельзя.

— Мы тут правлением решение одно подработали, — снова заговорил Важнев, — насчет навоза, значит. Известно, землице нашей он в помочь идет, ежели его заложить поболее да с толком. Так вот, бабы, понаписали мы, значит, здесь полтора етова етова удобренья на поля вывезти...

— А из-под какой задницы наковырял стоко-то? — выкрикнула бойкая на язык Дуська Мальцева, которая на каждом собрании всегда встревала в разговор на самом его остром месте.

Важнев будто ждал этого вопроса. Глаза его хитровато сузились, цепко прицелились на Дуську:

— Из-под твоей-то, небось, поболее во-за выгresti можно.

Колхозники дружно хохотнули на эти председателевы слова. А Дуська, разобидевшись на Кирилку, как ножом, отрезала:

— Ты, хрен старый, мои доходы не меряй, силов у тебя на это не хватит. Ты лучше колхозный доход посчитай.

Важнев посуровел лицом, хотя еще не все смешинки успели выскочить из его глаз:

— Правду молвишь, Дуська. Хоть и со зла, но правду. Нету у колхоза нашева дохода. Хлеба нету, и навоза нету. Скотины, сама знаш, скоко, лошадей тоже пяток дельных-то осталось. Так что наскребем мы из колхозных хлевов да конюшен возов сорок, не больше...

Люди уже давно смекнули, куда гнет председатель. Собрание заволновалось. Кто-то выкрикнул:

— Сперва накормить людей требоватца, опосля назем спрашивать!

Важнев одернул крикуна:

— Хлеб вырастим — накормим!

И, выждав, пока поулягутся первые страсти, заговорил снова:

— Навоз нужен в первую голову колхозной земле, колхозному, а, значит, и вашему хлебу. Свои усады мы каждую весну унаваживаем в достатке. Картошка наша без навоза годок-то потерпит, не велика барыня. А под огурцы и помидоры удобрения хватит. Так што зачитываю решение: «Вывезти с каждого колхозного двора по два воза. Начать вывозку навоза с пятова марту»...

Март сорок второго года был солнечным и безметельным. Уже в его середине начало заметно таять. На задах заколоченной Попихиной избы в маленьком овражке к концу месяца стал потихоньку оседать снег, потом сквозь его хрупкую скорлупу проклюнулся первый весенний ручеек. Узеньким се-ребряным хлыстиком он сначала рас-сек южный рукав овражка, потом на-брал силу и, с каждым часом все замет-нее ссылая податливый снег, весело

устремился к набухающей пойме Елде-жика.

Еще неделю назад твердый, как ка-мень, санник стал плохо держать лоша-дей, и возчики навоза маялись на этой расползающейся на глазах дороге. И все-таки решение правления было вы-полнено в срок. Сто пятьдесят кучек навоза чернели на дубовском поле.

По апрельской хляби, когда дороги совсем расквасило, деревню переполо-жили два нагрывших из района мили-ционер. Приехали они верхами, в фор-ме и при наганах. Спросили первого по-павшегося мальчика, где изба Ветровых, и, не спешившись, на рысках поскакали в конец деревни. Возле дома Горбача милиционеры остановились и, рассте-гнув кобуры, взойшли на крыльцо. Пока они ботали в двери, привалило полде-ревни. Первыми поспели, конечно, ребя-тишки, за ними потянулись и взрослые. Старухи истово крестились.

— Оказья-та какая, восподи. Али тюрьма ево опять сыскиват, а?

Дверь отворила Тоська, бледная, пере-пуганная. Милиционер, что постарше, посторонил ее плечом, шагнул в сени. Второй отошел к окошкам.

На шум с мелкой прибежкой поспеша-ло главное дубовское начальство — Про-ня Большанчиков. Увидев милиционера, Проня взбодрился, хотел было козыр-нуть, но вовремя спохватился и, не ро-няя авторитета, заявил приезжему:

— Большанчиков. Предсовета. Чем могу быть полезен?

Милиционер взглянул на Проню свер-ху вниз:

— Покаме сами разберемсь. Бежака тут ловим, Ветрова...

— Неужель из тюрьмы сбе-г?

Милиционер, поправив кобуру, лениво поглядел на окошки.

В избе пока все было тихо. Потом из дверей с ревом выскочила Тоська и прямо по лывам побежала по дерев-не. Ее перехватил Панька, и она, обвис-нув на нем, зашлась в судорожном пла-че.

Обыск в доме прошел впустую. Горба-ча не нашли, хотя прошарили все укромные места, вплоть до амбара, хле-ва и бани. Устинья не признала, что муж наведывался в дом. Вместе с мили-ционерами и Проней она пошла в сель-совет. Мимо людей шла прямо, невидя-ще, будто на казнь, с погасшими бес-слезными глазами.

— Заарестовали Горбачиху-то! — выкрикнул кто-то из мальцов и, получив затрещину, захныкал.

Народ, поотстав немного от милиции, повалил к сельсовету. Всем не терпелось узнать, чем кончится эта заваруха. Последним за толпой ковылял Кирилка Важнев, ведя в поводу упаренных и залепанных грязью милиционерских лошадей. Можно было подумать, что в этом неожиданном происшествии он просто не сумел подыскать себе другого дела, которое бы подходило к его председательскому чину. Опомившись, он вручил посреди деревни лошадей деду Мокею, велел задать им корма, а сам еще усердней заковылял к сельсовету. Мокей задорно взъерошил очесок бородки и показал востромошному событьем дубовскому люду, что весь он, Мокей, при исполнении служебных обязанностей.

Допрос в сельсовете ничего не убавил, не прибавил. Устинья толковала все то же: Егор домой не наведывался, вестей о себе не подавал, с фронта написал раз, и в письме никаких намеков не было.

Проня подсказал опросить Тоську. Велели привести ее, но бабы сказали, что с девкой плохо и ее отваживают чуть живую. Ответ перед следствием за Тоську держал Панька. Он сказал, что Тоська от него утайки не держит, ежели бы что было, он знал. Старший милиционер спросил Паньку, кто он такой, родственник или кто другой, и, узнав, что он посторонний, велел ему проваливать из сельсовета. Но Большанчиков пошел в заступу, объяснив, что Панька в этом деле главный козырь. Он пробовал обсказать милиционерам случай с воровством пшеницы и совсем запутал следствие. Все кончилось тем, что старший запросил лошадей, и, когда их привели, оба милиционера сели в седла и уехали в Шимонино, даже не попрощавшись с растерянным и не в шутку разобиженным Проней.

Утихомирилась Дубовка после этого наезда не скоро. Словоохотливые бабы еще с неделю молотили языками, пускаясь в разные домыслы насчет Горбача и его супружницы. Усердие в пересудах заходило так далеко, что кто-то из баб начинал говорить истинную правду:

— Пусть лопнут мои глазоньки, вчерась у Горбачевой избы кто-то шебутил-ся, в куфайке и в сапогах валеных.

Кругом грязь, а он в валенках.

— А в ту ночь в ихней бане свечку до петухов жгли...

— Да ну?

— Лопни мои глазоньки.

И не видать бы края этим пересудам, если бы новые события не заслонили бабы небывальщины. Первое из них: Тоська ушла в дом к Паньке. Собралась и ушла. Вроде бы сосвоевольничала девка, но Устинья корить ее принародно не стала, все обошлось молчком. Поохали, повздыхали дубовские старухи о том, что рушатся божьи уставы, а что поде-лаеш, ежели молодые ничего не признают. Отцовской управы на них нет да и matka-то у них одна на двоих. А тут еще дела такие образовались.

Как раз в эту пору вызывали в район Кирилку Важнева, и привез он оттуда новое известие о Горбаче. Изловили его будто бы где-то возле Семенова, с поезда сняли. Видать, и вправду в свои края пробирался да ссекся, опознал кто-то, и опять же документов при нем не было. В Шимонино его на подводе еще с одним беглым отправили, под конвоем, конечно. Второй-то беглый чужак, то ли поляк, то ли еще какой заблудший. Посадили их на телегу вместе и в район для полного дознания личностей. А по дороге с ними случай вышел.

Конвойные-то хватили, видно, на станции поллитровку, ну и повеселели малость, по воронам палить из винтовок начали. И все мимо. Горбач тут их, возьми, и подзуди:

— Разве, мол, так стреляют в кадровых войсках. Дай, мол, стрельнуть бывшему служивому. Те подумали-подумали и решили: пусть стрельнет, прить покажет, все-таки под контролем мужик-то, далеко не убежит.

Стрельнул Горбач — ворону в перья. Винтовку подаль: во, мол, как надо.

Едут дальше. Опять вороны, опять пальба. И все мимо. Сами Горбачу винтовку дают: наκος, пальни. Рты раззявили, ждут, когда ворона перья рассылет. А Горбач винтовку взял, с телеги скок и командует по-военному:

— Кругом, туды вашу в душу. Скидывай обулки, власть переменялась!

Конвоиры-то молодые были, зеленые, знал коги пугать, поскидывали казенные сапоги и давай в кусты с оглядкой. Боялись, чтобы не подстрелил. О второй винтовке и думать забыли.

Надрючил Горбач сапоги и поляку этому самому велел обуваться. А тот

тоже страхом зашелся да еще по-нашему ни бельмеса не смыслит. Понял кое-как, стал сапоги натягивать — не лезут, угораздило его с такой ножицей родиться.

Так будто бы и утекли. Винтовку одну оставили, только затвор с собой прихватили и сапоги те, что не по ноге. Поляк босиком в такую-то стынь ушел. Это все будто бы конвойные обсказали, из кустов видели. А в какую сторону подались — этого они так и не запомнили. В лес, говорят, скрылись, а в лесу, знамо дело, сторон много.

Рассказ этот вызвал такой переполох, с которым не мог поравняться даже приезд милиционеров. Вся Дубовка ждала новых событий. Над ней плыли тучи, из которых должен был грянуть гром. А пока было тихо. Так тихо, что даже пробирал страх.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

Запылил по угорьям орешник, сбросила цвет ольха, задымилась первая молодую травкой Высокая Грива. Всю пойму заполонил Елдежик, подвигая свои гульливые под шалым ветром воды к старшим по званию рекам. Пришло время хозяйства весны зеленой и долгожданной теплыни. По солнечным утрам в ближних рощицах и перелесках сходили с ума птицы. Особенно усердствовали соловьи. По заматам стариков соловьи запевают всегда в одно время, когда береза лист пускает. Напьется соловушка росы со свежего березового листа, прочистит горлышко и давай щелкать на всю округу. Середина мая — соловьиный праздник, весна тут всю свою силу и жизненную радость показывает. В такую пору даже самый хворый человек улучшение здоровья чувствует. И то правда, в нашей Дубовке с раннего утра старики со старухами в это время на завалянки ползут. Те, кто выполняет, до другой весны верно уж протянет. На это у народа примета опять же такая есть.

То майское утро мне всю жизнь теперь помнить. Я тогда раненько проснулся, думал матери на огороде грядки под капусту вскопать. Выглянул на волю — солнышко пригревает, хоть и свежо немного. Куры в прелой щепе копошатся, червяка-зимаря гребут. Филька куда-то на Пирате отправился, телогой намазаной проскрипел. Слышу мать ме-

ня из избы окликает, подойником звякая:

— Што дверь-то расхлебанил? Не лето ишло.

Взял я заступ да к огороду пошел. А мать мне опять вослед шумит:

— Куды ты не завтраками-то, а?

Я только рукой махнул, заступ на плечо и иду, ничего не слушаю. У огорода с Панькой встретился. Тот с топором под мышкой в лес пошатагал.

— За каким делом? — спрашиваю.

— Жердей, говорит, для огорода подрубить надо бы, а то скотина всякая лезет.

Больше я его и спрашивать ничего не стал. Только подумал, что и нам бы огород подправить не грех. Раньше тятя его каждую весну укреплял, где досточками, где тальником дыры заделывал.

«Останется мать одна, — размышлял я, — все на нее свалится, а одной-то ей не разорваться».

То, что мать скоро будет одна в нашем доме, было для меня делом ясным. Я понимал, что пришел срок моей военной службы, хотя исполнилось мне в эту зиму всего семнадцать годов. Образование мое закончилось на девятом классе, в десятый я не пошел — это решила за меня война. Тятя, уходя на фронт, сказал так:

— Ничего, сынок, не поделаешь, придется после окончания войны доучиваться. А пока матке помогай дом держать.

Этот отцов наказ я выполнял ладно. Сенокос справил, на зиму дров запас привольно, хлев утеплил. Так что мать на меня не обижалась. Теперь вот весенние заботы подошли, только поспевая поворачиваться.

Я копал землю и думал об отце. Как-то он там теперь? Писем что-то нет третью неделю, не случилось ли чего. Мать при виде почтальонши Ньюшки каждый раз вздрагивает, будто беды какой ждет. А та писем не несет и не несет. Другим письма идут, а нам нет. Ньюшка уже глядеть на маму виновато стала. Ведь раньше-то отец раз в неделю письма слал. На передовой он пока не был, его саперная часть где-то оборону строила. Может, теперь послали и молчит поэтому?

Я слышал, как хлопнул выстрел в ближнем леске, но никакого худа не подумал. Решил, что кто-то рябчика поднял или тетерева подстерег. У нас по весне разной птицы много, а охотников.

считай, никого. Разве кто случаем побалует.

Часа два я на огороде-то прогнали-ся, три грядки устроил. Собрался было домой перекусить идти, да тут Костя Семин приспел курева попросить. Он рядышком в своем огороде рассадник налаживал. Присели мы с ним на колодину, козы ножки свернули и вдруг видим, трое ребятишек по полю бегут, кричат что есть силы:

— Паньку убило! Тамоткать, в лесе!

И ребятишки-то не наши, павлухинские. Подумали, озоруют лешие. А у самих сердце зашлось: «Неужто правда?».

Бросились мы к ним, а они руками чумело машут: там, мол, в лесу...

Как нас только ноги туда донесли, бежали, себя не помнили. Ребятишки за нами едва поспевали.

В березовой рощице, у самого своротка тропы, мы нашли Паньку. Он лежал, приткнувшись к старому мшелому пню, скрючившись, как малый ребенок. Руки его были прижаты к животу и все перепачканы в крови. Одна штанина выпросталась из сапога и тоже была залита кровью. Рядом валялся топор и смятая кепка. В лице Паньки не было жизни. Но когда мы с Костей тихонько взяли его за плечи, он застонал.

— Живой ишшо, токо ранетый шибко, — прошептал кто-то из ребятишек.

Я перевалил через плечо Панькино тело и понес в деревню. Через несколько шагов почувствовал, что рубаха моя липнет к боку, она уже успела набрякнуть в Панькиной крови. Когда вышли в поле, меня сменил Костя, я пробовал подсоблять ему, но ничего не получилось. Ребятишки в это время припустили наперегонки в деревню, неся страшную весть.

А Дубовка уже переполошилась, хотя никто не знал толком, что стряслось. Кто-то из баб, наверно, видел, как мы с мальцами кинулись в лес, слышали наши крики. И теперь люди собрались у старых ворот на выгоне, ждали, что будет.

Потом увидели бегущих ребятишек, за ними нас и толпой повалили навстречу. Через минуту чьи-то руки заботливо приняли Паньку. Я будто в тумане различал, как суматошно мечутся люди, как торопливо крестятся старухи. И все это заслоняет побелевшее лицо Тоськи, ее ситцевое в мелкий горошек платье, разорванное на груди, и судорожно вцепившиеся в Панькино плечо пальцы.

Панька умер в полдень. Понапрасну хлопотали возле его постели дубовские старухи со своими лечебными снадобьями, промывали и перевязывали рану. Он потерял много крови, пуля порвала легкое, задела позвоночник. Спасти его не смог бы и врач, ходу до которого было шесть верст с лишним.

Искали Горбача. Проня Большанчиков отрядил на розыск всех мужиков деревни. Матвейка Важнев, Костя Семин и я тоже пошли с народом на облаву. Разбились на две группы, на каждую — по ружью. Кое-кто прихватил с собой вилы. Шли, как на зверя. В том, что Паньку убил Горбач сомненья никто не держал. Об этом Проня позвонил в район, оттуда обещали выслать наряд милиции.

Еще до прибытия милиционеров обшарили весь ближний лес, но следов Горбача не нашли. Слишком хорошо он знал дзешние места, чтоб не суметь схорониться в такой глухомани.

Порядком устав после долгих поисков и внутреннего напряжения, мы уже совсем засобирались домой, вдруг Матвейка сказал:

— Как мы не дотумкались, не завернул ли Горбач на кордон. В старую свою избу, а?

— И вправду зачалить мог. Пошли туды.

На кордон пошло нас четверо, к нашей тройке пристал сам председатель сельсовета Проня Большанчиков. Сначала Проня отговаривал нас, велел подождать милицию, но все было без пользы.

— Порешит он вас в момент, коли заметит, — пугал нас Проня. — Теперя ему все онно: жизней больше, жизней меньше.

И только когда Костя потянул у него ружье, он обозлился:

— Не трог, я сам. С оружием баловатца, потом отвечай за вас недоросков. Пошли коли.

И вскинув здоровой рукой ружьишко на плечо, он пошagal к кордону. Мы, конечно, следом.

Перед самым выходом к поляне, на которой стояла полусгнившая избенка покойного бобыля Герасима, председатель велел нам приостановиться:

— Зайдем сдалека, не учуял штыбы. И пока не скажу — никшните.

Укрываясь за деревьями, мы обошли поляну и крадучись стали подвигаться к избе с глухой, беззаконной ее стороны. Проня держал ружье на взводе, не спус-

кая глаз с лесниковой хоромины: кабы из-за нее случаем не вывернулся Горбач. У куста огородной калины мы устроили засаду, с этого места было видно крыльцо и кособокое окошко с выбитыми стеклами.

Ждать нам пришлось недолго. Сначала кто-то промельтешил в окне, потом скрипнула дверь и на улицу вывалился бородатый мужчина чуть ли не двухметрового роста. Поозиравшись, он глянул на закатное солнышко и, справив малую нужду, уселся на ступеньках.

— Здесь затаились, курвы, — прошептал нам Проня. — Ишь, выскалился, харя немытая. Ждет чево-то.

— А кто это, дядька Пронь? — дрожащим шепотом спросил Матвейка.

— Поляк вроде ба. С под ареста с Горбачем сбег.

— А сам-то где?

— Можя, здесь, а можя, петли где делат, след заметат.

Бородатый сидел на крыльце минут десять, больше из избы никто не вышел. И тогда Проня решил его брать. Высушившись из-за куста, он поднял ружье, выкрикнул:

— Руки кверху!

И бочком подскочил поближе к задержанному, тыча ружьем в сторону выбитого окошка. За Проней выметнулись и мы.

Поляк, перепуганный до икоты, стоял перед нами с воздетыми к небу волосатыми ручищами босой, в грязных лохмотьях, мало похожих на одежду. Пересилив первый страх, он залопотал бесвязно:

— Хлеп исть, хлеп ната, стрелять не ната...

— Горбач куды делся? — хмуро спросил Вольшанчиков, все еще не опуская ружья. И, глянув на непонимающее лицо верзилы, махнул рукой: — Сбег убиец проклятый. Энту куклу оставил, а сам сбег.

Мы с Матвейкой заглянули в избу. Там было полутемно, пахло прелью, на щелястом столе валялся опрокинутый чугунок с отбитым краем и какая-то тряпичная рвань.

Мы повели поляка в деревню. Шел он охотно, старательно обходя лывы, норовя попасть на пешую тропку, что текла обочь колесной дороги.

Молчали почти до самого дома. Только в поле Проня спросил поляка еще раз, толмача ему руками:

— Де напарник укрылся, знаш?

И теперь, когда тот совсем успокоился, к нему пришло соображение:

— З хлебом шел. Домину шел, матка там...

Поляк говорил долго, будто захлебываясь от собственной словоохотливости. Из его сбивчивой речи мы поняли только одно, что он ничего не знает пока о смерти Паньки и о том, куда пропал Горбач. Есть он больше не просил, только, завидев деревню, жадно слотнул слюну и пошел еще торопливей. Опухшие и разбитые до кровавых потеков босые ноги несли его теперь, уже не разбирая дороги.

В прогоне возле ворот нас встретили два милиционера, те самые, которые приезжали искать Горбача раньше.

— А-а, пан Потылинский, — по приветствовал беглого милиционер помоложе и даже шутливо кинул руку под козырек. — Набегался, сучий потрох.

Поляк опасливо переминался, косясь на милиционеров, на их отвисающие на ремнях кобуры. Беледые глаза его затравленно моргали, по всему было видно, что с милицией он встречи не ожидал, а если и ожидал, то не так скоро.

Поляка повели в сельсовет. Шел он под горестные вздохи сердобольных дубовских баб и веселое улюлюканье несмышленных ребятишек, которые то и дело выкрикивали:

— Немца пымали! Немца ведут!

Для малой дубовской ребятни уже началась та невеселая пора, когда они без всяких оговорок стали делить мир на немцев и на наших. Чужой, да еще заарестованный человек с непонятной речью, для них не мог быть никем иным, кроме немца.

И только бабы откликнулись на тихое, между других слов выдавленное беглым чужестранцем русское «исть» и на ходу совали ему в жадные руки теплые картофельные лепешки, с нескрываемой болью глядели, как он, давясь в своей торопливости, проглатывает их, раскroшив в медном волосе клочкастой неприбранной бороды.

В сельсовете поляка допрашивали долго, с усилием старались понять его смешанную с русскими словами польскую речь. Милиционеров интересовало главное: где скрывается дезертир Ветров и он ли убил Павла Рохмистрова. Уразумев, что его спрашивают о каком-то убийстве, Потылинский в волнении сразу переизбыл все русские слова и

только мотал кудлатой головой:
— О, матка бозка, матка бозка... Ничего не вем... Не вем...

О Горбаче уяснили одно, что он оставил поляка на хуторе, пошел в деревню за хлебом, обещал прийти и не пришел. Ушел перед самым рассветом, сказал: «Жди, вернусь сразу».

Пока шел допрос, в сельсоветскую избу нашло народу. Поначалу молоденький милиционер страшил всех законом, велел освободить помещение, его никто не захотел слушать. Он не выдержал бабьего напора и стих.

О чем думал в эти минуты беглый человек Януш Потылинский, которого суматоха войны сначала загнала на границу с Россией, а потом сюда, в глухие леса Приволжья? Может, вспомнилась ему родная деревенька на берегу тихого Буга, хата в четыре окна и молодая жена Васенка, которая отпустила его на меновой промысел в самую тревожную пору. За это время он успел побывать в немецком плену и в русском, уползал в болота из разбомбленного эшелона, пытался пробраться в Польшу, к своей Васенке, но огневой вал войны откидывал его все дальше в самую глубь чужой и малопонятной ему земли. Несколько раз его забирала милиция и, не зная, как с ним поступить, или отправляла к властям повыше, или попросту отпускала на волю, чтобы не маяться с ним дальше. Пропасть с голоду ему не давали люди. Забыв о гордости, он кормился подаяньем и со временем стал все больше походить на придурковатого нищего, от прежнего пана Потылинского осталось имя да полурусская, полупольская речь.

Последний раз его забрали недалеко от здешних мест и, допросив, опять не нашли ничего лучшего, как отправить в город для полного выяснения личности. Так он попал под один конвой с этим русским Егором. Освободившись от конвоя, свирепый русский заставил его идти вместе с ним, пригрозив смертью. Для чего он был ему нужен, Януш так и не понял. Видно, Егор просто боялся остаться один в этой несусветной глухомани. В первый же вечер Егор Ветров уговорил Потылинского идти к Керженцу, к староверам и переждать войну на дальнем хуторе, куда будто бы не доберутся никакие власти. Януш вконец перетрусил перед этим диким в своей решимости человеком и, еще раз попрощавшись в мыслях с Васенкой, согла-

сился идти за Егором. Петляя по лесам, обходя болота, через несколько дней они вышли к леснической избе. Хлеба и сала, отобранного у конвойных, хватило ненадолго. И Ветров пошел на риск. Зная, что их ищут именно в этих местах, он решил вынырнуть из леса к своим, заpastись едой, а там уж на Керженец...

С грехом пополам Потылинский рассказал об этом милиционерам, и те поняли, что поляк говорит правду. Бабы, выслушав исповедь беглого поляка, с трудом разобравшись что к чему, стали упрашивать старшего из милиционеров отпустить чужака помыться в бане, а то, мол, вонь от него идет да и чистую одежду ему надевать негоже. Милиционер попервости отмахивался от бабьих просьб, потом согласился:

— Ладно, вымойте его, лешака, — и добавил: — Токо ты, Симаков, смотри. Кабы не сбега, а то он, можа, с вида такой тихой.

Потылинского увели в Мокеихину баню. А Проня, пошептавшись со старшим, велел позвать в сельсовет Устинью Ветрову. На дому ее уже один раз допрашивали, но перепуганная Панькиной смертью Устиньи, сначала отмалчивалась, потом заревела в голос, и от нее отступились.

Устинья пришла скоро. Ссутулившаяся, в черном, повязанном по-старушечьи платке, с поджатыми сухими губами. Она подошла к милиционеру и глухо выдавила, будто собираясь на смерть:

— Бери в тюрьму меня окаянную. Утаила я все, был утресь убивец-то. Харчи забрал и ушел. Не думала я, что руки он в крови замарат, парня порешит. Христом божусь, не думала...

Губы Устиньи задрожали, но Проня сурово остерег ее от плача:

— Ты мокроту-то не распускай. Чево сразу не донесла?

— Ведь муж он мне, а не чужой кто.

— Бандит он, а не муж, его всем миром судить надо.

Устинья всхлипнула, поднесла окосок платка к глазам.

— А куды подался, не сказывал? — спросил милиционер.

— Торопился он, Тоську разбудить берегся. Одно токо сказал: «Опосля все сообщу».

— Ежели што узнашь, сказывай, а пока иди, — сказал милиционер Устинье и потерял к ней всякий интерес.

Когда она ушла, Проня проворчал:

— Хитра баба, когда утек, тогда с

правдой пришла. А теперь ищи ветра в поле.

— Найдем. Из-под земли выкопam, а найдем, гада, — застегивая полевую сумку, молвил милиционер. — Вы пока ребятишков остерегайте. А то мало ли што... — И устало поднялся из-за стола.

Так закончился этот тяжелый, наполненный горем день в Дубовке. Какие еще жизненные потрясения посулит ей лихая година? Весна-весна, нет радости в твоём молодом цвете, в небе твоём безоблачном, в солнышке твоём ясном. Уберешь ты легкой зеленью Панькину могилу, разбросавшь цветы-незабудки на кладбищенской поляне, оросишь ты мягким дождичком траву-мураву, но не высушишь тебе долгие Тоскины слезы, не смягчишь тебе ее потерявшее любовь к миру сердце, не испить по капле ее первое женское горе. Весна-весна, распахнутая, закатами прирумяненная, от сока березового пьяная.

Отшумели паводковые воды. Вошел в свое привычное русло Елдежик. Прошла пора пестиков на Высокой Гриве. Грива залохматилась сильной молодой травой, а на солнечных ее склонах взял силу ранний земляничный цвет. Закудрявил, скрыл в своей буйной вешней кипени гнезда-беседки старый вяз и вечерами, темнее от печали и тревоги, ждал нас в широкие объятия своих корявых ветвей.

— Вот и они повзрослели, — наверно, думал он в ожидании. И может быть, радовался за нас, исполненный терпеливого участия и доброты ко всему сущему на земле.

В этот вечер я пришел к вязу, чтобы рассказать ему о Паньке, о его короткой человеческой жизни. И вяз слушал меня, тихо подрагивая тяжелыми листьями...

Завтра я уезжаю из Дубовки. Уезжаю на фронт. Вместе со своими друзьями — погонками Матвейкой и Костей Семиным. Повестки пришли нам в один день. Мы обрадовались: может, выпадет случай, что нас отправят в одно место, в одну часть. Говорят, бывает и такое. Об этом мы мечтали когда-то с Панькой. Когда-то... Будто не две недели всего прошло с того страшного дня, будто остался тот день далеко-далеко в нашей поспешно промелькнувшей юности.

У меня нет страха перед будущим, хотя сейчас я каждый день думаю о войне.

Я ловлю себя на том, что смотрю на войну глазами Паньки. Он, когда собирался на фронт, говорил мне:

— Мы все должны теперь быть там, токо всей нашей силой можно одолеть немца.

Я хорошо понимаю теперь последнюю Панькину правоту. Горбач не захотел быть там, побежал от войны, спасая шкуру, и сразу стал нашим врагом. Врагом, о котором сказала моя мать, что он хуже всякого немца.

Два дня назад наконец-то пришло письмо от тяти. Его ранило в боях под Москвой в ногу и в плечо. Письмо написал за него чужой человек, наверно, медсестра. Это больше всего испугало маму. Успокоило то, что тятя жив. Мы боялись худшего, писем от него не было почти три месяца.

Вместе с тятиным письмом в Дубовку пришла еще одна похоронная. Погиб кузнец Денис. Почтальонша Ньюшка не знала, кому отдать похоронку, родных у Дениса в деревне не было. Понесла казенную бумагу в сельсовет к Проне Большанчикову, но и тот не знал, что с ней делать. Порешили отправить похоронку в военкомат, авось там разберутся. Бедный добрый человек Денис, вот и тебя не стало, оттоковала твоя веселая кузница...

Старый вяз, о чем ты еще спросишь меня в эти прощальные наши минуты. Может, о Тоське? Давай лучше помолчим о ее горе. Только прошу тебя: помоги ей в самую безысходную минуту, лаской своей помоги, простым человеческим утешением. Она еще не раз придет к тебе, запомни это, вяз. И Ванятку маленького береги, он ведь единственная кровинка, которая досталась Тоське от Паньки. Вырасти его человеком, старый вяз.

Ну, а если появится в наших местах цыганский шумливый табор, ты послушай его голоса, песни его послушай. И если захолонет твоя душа от весенней радости или неизбывной печали, знай, что это поет Зара, моя первая мальчишеская любовь. Ты позови ее к себе, она услышит твой негромкий голос. И когда она войдет под твои тенистые могучие ветви, ты Расскажи ей обо мне все, что я тебе доверил.

— До свиданья, старый вяз. До свиданья, Высокая Грива.

Семен Печеник

З В О Н А Р Ь

Бьет колокол...
 Угрюмый, вечевой.
Бьет колокол...
 Неистово — без страха.
Над площадью,
 над крепостной стеной
Гудит под ветром звонаря рубаха.
Звонарь молчит.
 Ему ли говорить,
Коль в медной глотке
 бьет
 язык
 тяжелый!

Горит Россия.
 Широко горит.
Застенный город
 и далеко — села.
Грохочет медь:
 к оружию, народ!
Не пригибайтесь перед темной силой!
И колокол неистово ревет,
И вздрагивают отчие могилы!
Звонарь, лупи!
 Звонарь, с размаху бей!

Уже поют над ухом
 вражьи стрелы,
А бунчуки —
 хвосты чужих коней —
Летят по переулкам обгорелым.

И хан влетает в город, —
 хмур и яр, —
Башка трещит от колокольных песен.
И восклицает вождь степных татар:
«Всех порубить,
 а звонаря —
 повесить!»

Кровавый вспых в зрачках у палача.
Помост скрипучий,
 и веревка в мыле...
И в мертвых пальцах плакала свеча.
А утром —
 вновь колокола
 звонили!

И восставали
 из немых полей
Великие, невиданные силы.
И вешали владыки звонарей,
Хребет ломали
 и кнутами били...
Но смельчаки,
 пусть участь их
 горька,

Однажды рухнув,
 восстают из праха.
И, будто парус,
 мчится
 сквозь века
Навстречу бурям
 красная рубаха.

Наши переводы

Сапар Ураев

«Каков ваш край, обычаи пустынные? —
Так спрашивают часто у меня. —
Там можно, говорят, яйцо куриное
Испечь в песке, не разводя огня?»
Нет, слогом ни спокойным,

ни возвышенным
Не рассказать, чем дышим, как живем.
«Увиденное не сравнить

с услышанным»¹ —
И потому мы в гости всех зовем.
Всегда найдем к столу вино добротное,
Янтарный плов и винограда гроздь.
Гость у туркмен и старше, и почетнее
Отца в семье — какой бы ни был гость.
Вам летом — место самое прохладное,
Зимою вас — поближе к очагу.

Откушаете — подадим отрадного
Горячего зеленого чайку.

И, до поры под солнцем усыхающий,
Похрустывая, как ледовый наст,
Вам хворост саксауловый пылающий
Тепло земли туркменской передаст.
Еще добавлю гордо и уверенно:
Как саксаул впитал тепло земли,
Так человечность и сердечность Ленина
В туркменские обычаи вошли.
Нет, словом ни простым

и ни возвышенным
Не передать, как трудимся, живем.
«Увиденное не сравнить

с услышанным» —
И потому мы в гости всех зовем.

¹ Туркменская мудрость

Рассуждения моей жены

В мире много всяких грехов...
Грех — тяжелей и жестче оков.
С ним равнинный путь — как лог,
С ним и короткий путь — далек.
Ноги спутает, обовьет,
Не отпустит, как цепкий спрут.
Грех и мал — да обилен пот,
Грех и легок — да целый пуд.
Он замутит и взгляд и речь,
Сердце заставит всю жизнь тужить.

Его невозможно сбросить с плеч,
На чьи-то плечи переложить.
Вот изменишь, пойдешь к другой —
Это тяжкий грех, дорогой.
Горько одинокой быть и стыть,
Но сумею понять и простить.
Если ты к Родине станешь двулик —
Этот грех смертельно велик!
Может быть, поплачу я, погущу,
Только никогда тебе не прощу.

Барса-Гельмес¹

Барса-Гельмес, Барса-Гельмес...
Столетиями народом клято
Одно из самых страшных мест,
Откуда не было возврата.
Среди барханистых широт
Витали бесы, дивы, пери —
Так забивала мой народ
Тьма азиатских суеверий.
Но прошлого — пропал и след...
Тьму вековую грозно руша,

К нам ленинский пробился свет
И высветлил туркменов души.
Его ни бай, ни муллы
Не погасили (а хотели).
И мы, рожденные средь мглы,
Дорогу к счастью разглядели.
И прежних страхов больше нет.
Под нашим солнцем нет им места.
Сегодня добываем нефть
В седых песках Барса-Гельмеса.

Перевел с туркменского В. Баянов

¹ Барса-Гельмес — пойдешь, не вернешься. Так называется местность в пустыне.

Анатолий Коротков

Ц А Р Г А

РАССКАЗ

Костя Ключин был мрачен. Утром он получил великолепный нагоняй от начальника управления.

— Еще один такой фокус, — хлопнул начальник ладонью по столу, — и от тебя останутся одни воспоминания. В разнорабочие окрещу. Запчасти противить станешь. Тоже мне — юморист!

Когда Ключин покинул грозный кабинет, уши его горели.

Возле крана его остановил механик Папанов, управленческий философ, готовящийся к пенсии. Мягко положил на плечо руку:

— Не журись. Тот не ошибается, кто ничего не делает.

Костя дернул плечом и кошкой забрался по лесенке в кабину.

— А неуживчивый ты, брат! — укоризненно сказал механик и почему-то посмотрел на свою руку, будто ее укусили. — Так не положено.

Костя скривил губу. Скажут тоже — «кто ничего не делает!». От безделья все и началось.

Три дня вихрила метель. Поднимать царгу нечего было и думать. Ветер учинил бы такую болтанку — держись только! Кран, давно подготовленный, стоял в бездействии. Бездельничал, раззумеется, и Костя.

Вчера смотрит он из кабины и видит: чахлый тракторишка, чихая простуженным радиатором, приволок к площадке деревянную теплушку. Древнюю такую. Списать бы ее начисто — да бережливый начальник не позволил: пригодится. На профсобрании постановили для строителей домны организовать буфет прямо на площадке. Для этого — да победилась развалоха.

Костя соскочил по лесенке вниз, обошел вокруг теплушки.

— Кафе-люкс!.. Ресторан...

Чтобы «кафе-люкс» не рассыпалось на запчасти, теплушку перевязали канатом. По середине крыши замысловатым иероглифом маячил стальной узел с петлей.

Вскоре на саях пожаловала сама буфетчица. Вдвоем с возчиком она перетаскала в теплушку какие-то фляги, затем, подперев жирные бедра кулаками, стала кричать монтажникам, рассыпавшим на соседних кауперах металлически трели:

— Эй вы! Нельзя ли потише! У меня гипертония!

Но ее не слышали. Буфетчица плюнула и уехала в столовую за борщом.

Костя забрался опять в кабину и заскучал. Он безучастно глядел вниз, на огромную петлю-иероглиф. Долго смотрел он на теплушку. Вдруг глаза его насторожились. Он прикоснулся к кнопке управления. Кран лениво скрипнул на морозных рельсах и, шаловливо гудя, бочком придвинулся к теплушке. Костя опустил тросы и тихонько зацепил крючком за петлю.

После этого он еще немного подумал, но уже не мог остановить себя: соблазн был велик... Движения Ключкина стали вкрадчивыми, точно у кошки. Трос натянулся. Теплушка легко и плавно повисла в воздухе.

Костя осмотрелся, отыскивая, куда бы спрятать теплушку. По другую сторону рельсовых путей возвышался горн домны. Уже смонтированный и схваченный электросваркой, он напоминал гигантский стакан. Костя дал обратный ход и опустил теплушку в чрево горна. А потом вернул кран на прежнее место и стал наблюдать.

Что тут поднялось, когда возвратилась буфетчица! Она от изумления раскрыла рот и минут пять бестолково озиралась по сторонам. Затем закричала на обступивших ее монтажников (у тех наступил обед, и они спустились с кауперов):

— Сказывайте, куда подевали посудину! У меня там подотчетные ценности. Мне нельзя психовать — у меня гипертония.

Но никто ничего не знал. Теплушку обнаружила электросварщица Октя Куртубашева, когда полезла внутрь горна, чтобы проверить шов, который сама накладывала. Сбежалось начальство. Все охали и ахали, поражаясь такому диву. Сенька Смагин, тоже крановщик и давнишний соперник Кости, покосился на кран Ключкина:

— Ребята, да это Курдюк сделал. Больше никому.

Костю вытащили из кабины.

— Твоя работа? — спросил суровый профорг.

— Моя.

— Постановление общего профсобрания подрываешь?

— Никак нет. Я хотел, чтобы теплушку ветром не сдуло.

— Тащи обратно. Решение профсобрания должно быть претворено в жизнь.

— Слушаюсь...

Когда «кафе-люкс» повисло в воздухе, буфетчица заверещала:

— Граждане, там у меня флаги с молотком. Пролет, окаянный! Будьте свидетелями.

Профорг, наблюдая за траекторией теплушки, схватился за голову...

— Прошу заактивировать! — кричала буфетчица. — Где народный контроль?

Но теплушка плавно и спокойно опустилась на прежнее место. Кинулись в нее. Фляги — целехонькие — ни одна не опрокинулась, молоко отливает спокойной белизной. Ни капельки не пролито.

— Мастер, сукин сын! — захохотали белозубые монтажники.

— Вот тебе и Курдюк!

И вот сегодня мастер срочно пригласил к начальнику управления механизации...

...Костя Ключкин был мрачен. Во-первых, нагоняй. Ладно. Сдвожим. Во-вторых, вчера он сам видел, что Ромка Согрин в новом костюме, пижон этакий, танцевал в клубе с Октей Куртубашевой. Это уже тяжелее. По мнению Кости, к этой девушке никто из ребят не должен подходить. Потому что Октя — это... Потому что так хочется ему, Косте... В-третьи, как нарочно, этот долговязый дурень, Сенька Смагин, вчера при Окте опять назвал его Курдюком. Почему прилипло к нему это обидное прозвище? Разве он виноват, что ростом не выдался?

А если Ромка — плечистый верзила, значит, и танцевать с Октей может? А он, Костя, и подойти к ней не решается. «Хорош Ромка! А еще денег у меня взял, — злился Костя Ключкин. — Одолжи, говорит, ненадолго. Скоро премию получим — отдам. И я как дурачок всучил ему полторы сотенки. А денежки-то вон куда пошли. На костюмчик!...»

Ветер поулегся. С минуты на минуту должны были подать царгу. Да что-то медлят...

Значит, можно пока перекурить. Идти в буфет после вчерашнего он не решился и потому прихватил из дома бутерброды с маслом. Он развернул газету и поблек. Прямо на него с портрета смотрел улыбающийся Согрин. Как это он не посмотрел дома! Ведь знал, что в газете появился материал о бригаде монтажников! Вот он, его портрет. К тому месту, где буйно вились Ромкины кудри, даже хлебные крошки прилипли.

Есть сразу расхотелось. Костя отложил бутерброды. К ним сразу же бросились воробы, которые в стужу квартировали под потолком кабины. Потому что сам Клюкин, маленький, взъерошенный, был очень похож на воробья. Так уверял Сенька.

Костя уныло смотрел через стекло на растилающуюся вокруг картину. Сверху стройка представляла собою лабиринты таинственных траншей, переплетенных бесчисленными переходами. По лабиринтам в чаще стальной арматуры ползали тугие клубы пара. В морозной дымке смутно проступали кауперы, чем-то напоминающие древние башни. По их бокам вспыхивали огни сварки, и тогда книзу свисали космы золотистых искр. А Косте казалось, что там жарптицы трепыхают голубыми крыльями, распутив сияющие хвосты.

Костя посмотрел вверх. Небо было низким, тяжелым, точно выложенное льдинами. Костя невольно потрогал кнопки управления — уж не примерз ли кран к облакам. Но механизм был послушен своему хозяину.

Вдруг зашевелились стропы, свисающие на землю с крюка стрелы. Костя присмотрелся и узнал ребят из бригады Согрина. «Что им тут нужно?» — неприязненно подумал Клюкин и рванул стропы вверх. Те выскользнули из рук рабочих. Парни замахали на него руками и что-то закричали.

Костя остановил кран и выскользнул из кабины.

— Отхлынь! — сердито крикнул он. — Чего прицепились?

— Не шали, Костя! — крикнул один из монтажников. — Мы царгу пришли ставить...

Вот тебе раз! Выходит, царгу поручили монтировать Роману. А он, Клюкин, должен ему помогать!

— Пошевеливайся! — крикнули снизу. — Сейчас царгу сюда доставят. К вечеру надо управиться. Чем скорее сделаем — тем больше премии получим.

Клюкин юркнул в кабину. В ушах монотонно стучало: «Царга!.. Ромка!.. Царга!.. Ромка!.. Так вот на какую премию рассчитывает Ромка!».

Но раздумывать долго не дали. Из-за кауперов медленно двигались две железнодорожные платформы, на которых лежала виновница предстоящего торжества — царга, первое, самое мощное звено в кожухе домны. Платформы сзади подталкивал мотовоз.

Когда платформы приблизились, Клюкин невольно улыбнулся: оказывается, и сам мотовоз сзади подталкивался бульдозером. Тот лягзал траками прямо по рельсам и надрывно рычал, изо всех сил помогая мотовозу.

Клюкин посмотрел на царгу: вот это машина! Ему впервые придется подымать такую штуковину.

Бульдозер поотстал, скользя по рельсам, и мотовоз забуксовал, бессильный перед тяжестью царги.

Наконец, платформы придвинули к горну домны. Царга застыла. Пришел начальник монтажного участка, собрались механики, мастера. Встали кружочком, стали колдовать, что-то вычерчивая на снегу. Потом помахали Косте: дескать, спускайся к нам.

Клюкин скатился по лесенке вниз. И впопыхах уткнулся головой в чей-то живот.

— Тебе, пацан, чего тут надо? — раздался над ним сердитый голос. — Не болтайся под ногами.

Костя посмотрел вверх и увидел кудри Романа, непокорно выбившиеся из-под шапки.

— А-а, это ты, Костик, — смутился Роман. — Извини, брат, не признал.

Стоящая неподалеку Октя захохотала. Костю обожгло. И когда он подошел к начальству, уши его горели.

— Вот какое дело, Клюкин, — обратился к нему начальник монтажников. — От крана до центра горна, над которым предстоит монтировать царгу — семнадцать с половиной метров. От крана до центра, там, где она стоит сейчас, — девятнадцать метров. Сам знаешь — расстояние должно быть равным. Но платформы ближе продвинуть невозможно. А царгу ставить надо. Сможешь сдернуть ее при вылете стрелы в семнадцать с половиной? Сдернуть ровно, тихо, плавно.

— Сможет, — уверенно ответил за Костю начальник управления. — Вчера мо-

локо возил — ни капельки не пролил. Ас!..

Клюкину ничего не оставалось добавить.

— Смогу, — сказал он.

— Не торопись, — предупредил начальник. — Вес царги — пятьдесят две тонны.

— Ого! — вырвалось у Кости. — Предельная нагрузка на кран при таком вылете стрелы — пятьдесят тонн. Предельная!

— Значит?.. — начальник участка уверенно шагнул к нему.

Костя запрокинул голову и посмотрел на свой могучий БК-1000, потом взглянул скользнул по тросам, с тросов — на стропы, которые ребята из бригады Согрина уже торопливо прикрепляли к бокам царги. Увидев это, Клюкин с удовольствием произнес:

— Поднимать не буду. Нельзя! Если такая игрушка качнется в воздухе и боднет по крану, — план по металлолому сразу будет перевыполнен.

— Может, попробуем? — предлагал начальник монтажников. Костя вскользя увидел удрученное лицо Романа и крикнул:

— Поднимать не стану! Вы народ грамотный. Понимать надо. Норма превышена.

И он легко взбежал по лесенке и скрылся в кабине.

«Пусть-ка вот теперь Ромка щеголяет в костюмчике! — прошептал он. — Пусть-ка он теперь потанцует с Октей!...». Клюкин забрался на сиденье вместе с ногами, обнял колени и положил на них подбородок. «Пусть-ка, — снова прошептал он. — Премии не будет...».

Но сердце было беспокойным. Где-то в нем свилась невидимая пружинка и рвалась наружу.

Начальники, конечно, народ грамотный. Они найдут выход из положения. Их не запугаешь. Они вот что сделают. Наростят пути второго крана, того, что подает конструкции на кауперы. Кран сможет тогда подойти сюда. И царгу будут поднимать двойной силой.

Все это так. Но чтобы подвести сюда подкрановый путь — потребуется дня два. Что же получится? Три дня царгу не поднимали из-за метели. Два дня потеряют по его вине. И премиальные мо-

гут накрыться. А вот если б ее сейчас...

От размышлений Костю оторвал начальник управления, который поднялся в кабину.

— Чего захирел? — улыбнулся он, — Капризничаешь? Ведь я знаю — ты поднять сможешь... Обиделся? Не серчай. Работа у нас такая.

— Знаю, какая, — пробурчал Клюкин.

Он неожиданно поднялся и сурово посмотрел снизу вверх.

— Ну, вот что... Попрошу покинуть кабину. Посторонним тут не положено.

Начальник ухмыльнулся и, не сказав ни слова, неуклюже спустился на землю. Костя просигналил.

Монтажники посыпались с царги, где было устроили уже перекур, отошли на безопасное расстояние.

Костя плавно нажал на кнопку.

Никто не заметил, чтобы царга вздрогнула. Но она соскользнула с платформы. Стропы натянулись, и царга, покачиваясь, повисла в воздухе.

Клюкин прилип к контроллерам. Повинуясь ему, кран замер, выжидая, когда царга успокоится. А она плавно покачивалась, точно маятник — тик-так... тик-так... И все почему-то посмотрели на свои часы. Видимо, для домны начался отсчет времени...

* * *

Назавтра Роман Согрин давал интервью корреспондентам. Закрываясь от фотообъектива, он говорил:

— Понимаю вас, ребята, у вас тоже задание, которое надо выполнить, но отстаньте. Вон кого фотографировать надо! — Он показал на кабину крана. — Клюкин заглавное лицо у нас.

Корреспонденты бросились вверх по лесенке, но Костя в то время как раз выжидал, когда успокоится вторая царга, которую требовалось поставить на вчерашнюю, и потому зашипел так страшно, что газетчики отхлынули вниз.

— Наше дело шоферское: взял, поднял, поставил — и шаша, — бормотал он, неотрывно следя за царгой-маятником. — К монтажникам пусть идут. Я — человек маленький.

Стало смеркаться. Костю так и не сфотографировали.

• • •

• • •

Спорим яро,
А яр всегда отвесно крут.
И я увидел образ слова —
Не сочетание мертвых букв —
Нет! в слове СЛОВЛЕНА основа.
Открыта суть.
...В хвое еловой
Жужжит живое слово «жук».

Это — звонкий стук копыт,
 Это — лес,
 степной проселок,
 Это — свежий
 санный след,
 Это — я скачу веселый,
 Это — мне семнадцать лет!

Тажный, в белой пене перекат.
А ниже, на спокойном плесе синем,
Плывет «эскадра»: гусь и шесть гусят
И сбоку (охранение!) гусыня.
Гусята — только
 желтый клюв и пух,
Беспомощные шарики-гусята.
Но старый гусь
 командует и вдруг

Повел свою «эскадру»
к перекату.
А там — водовороты, быстрина,
Река в гранитных глыбах
рвет и мечет.
Что ж! Жизнь есть жизнь!
И выучка нужна —
Умение плыть
любой беде навстречу!

Николай Пискаев

Вчера в московской электричке
Я суету ругал...

И вот

Лежу на свежем сене
в бричке

И изучаю небосвод.

Звения уздой, моя кобыла
Во двор плетется не спеша.

Мне все здесь дорого и мило,
И песней полнится душа.

В саду цветущем товет хата...
Лежу,
Травинку тереблю
И вижу, как с водой девчата
Крадутся,
Думая, что сплю.

Чтобы как-то тебя не обидеть,
Я не очень в суждениях строг.
В те далекие годы предвидеть
Что-то важное каждый не смог.

Ведь на просьбу мою у излучки
По-иному звучал бы ответ,
Если знала бы ты,
Что разлуки
Будут длиться по нескольку лет.

Владимир Романов

Усть-Тула

Над березами и над ивами
Елок хвойные купола.
По-таежному ты красивая,
Деревянная Усть-Тула.
Здесь режут не звери таежные —
Пароходики на Оби.
Сколько ягод в твоих таежинах,
Хоть лопатою их гребь.

Здесь стоит грибов ополчение.
Коль желашь — бери, вари.
Посмотри, как ждут с нетерпением
У костра свой суп шишкари.
Я пишу и припомнить стараюсь
Твой лесной уют, Усть-Тула.
А в глазах плывут и качаются
Елок хвойные купола.



К дальнему пограничью

5 июля. Уезжаем от оглушающей жары, длинных очередей за квасом, тополиного пуха, от суеты и спешки долгих сборов. Десять человек, пожелавших хлебнуть беспокойного дорожного счастья. Наверное, мы первые прокладываем мототуристский маршрут Кемерово — Дальний Восток. Есть у нас и более определенная цель: побывать на заставе Нижне-Михайловка и вручить землякам пограничникам подарки и библиотеку, собранную студентами Кузбасского политехнического института. Мотопоход предполагаем завершить на Тихом океане.

А пока ближайшая наша цель — Шушенское: хотим своими глазами взглянуть на места, где жили Владимир Ильич и Надежда Константиновна.

Ведущий, наш руководитель Лева Моисеев, сворачивает на Марининский тракт. Рядом с могучим, плечистым Левой покачивается в тележке худенькая Лена, его жена. Поверх огромных мешков с нашим походным снаряжением она — как королева на троне.

Следующий мотоцикл легко, словно играючи, ведет слесарь Кемеровского гормолзавода Паша Любосеев, весельчак и балагур. В составе его экипажа — несколько флегматичный Володя Фадеев и немногословный Володя Гольцев. Если не считать Паши да монтажника стройуправления Виктора Иванова, все мы в какой-то степени связаны с Кузбасским политехническим институтом: ассистент Володя Назаревич, аспирант Владимир Проноза, студент-заочник Игорь Максимов...

В зыбком свете фар вспыхивают и исчезают стволы берез и пихт. Лес стоит призмевший, притаившийся.

Все вокруг кажется призрачным, бесфор-

менным. Такое впечатление, будто кто-то толкает нас в молочную пустоту.

Заглушаем моторы в километре от деревни Успенки, и нас обступает дремучая тишина. Как ни хочется завалиться спать, решаем сварить ведро картошки, купленной в деревне. Стук топора, мелькание фонариков, пропадающие в густой траве голоса. На душе легко и покойно. Нам давно не доставало вот такой чуткой тишины, острого запаха трав и пихт, неторопливой беседы возле ночного костра.

7 июля. Слева, над переправой, все настойчивее гудят машины и звенит что-то широкое «Э-гее-ей!». Прямо перед нами — серебристая лента Кии. Течение в ней быстрое, звонкое.

...Глыбой вырос перед нами Проноза: щеки — как туго надутые мячи бурого цвета, на широченные плечи накинута брезентовая роба. Вид — ни дать ни взять пожарника или лесника.

С появлением Пронозы (он уходил рыбачить) стало веселее. Все напрапалую эксплуатируют его добродушие. То предложат килограммов на двадцать похудеть и стать первым среди нас мотоджигитом, то начнут подтрунивать над его поразительной способностью спать «взасос, взалхлеб и впрок», в любое время суток в любой обстановке и даже, как однажды случилось, за рулем; то кто-нибудь, хлопнув себя по спине, вспомнит сказанную Володей с неподражаемой мрачностью фразу: «Что — комары в две смены работают?».

Скоро выступаем. Судя по карте Моисеева, вчера мы немного не дотянули до реки Урюп — пограничной с Красноярским краем.

Только тронулись в путь, как запутались в переплетении лесных дорог. И кто только

выдумал эти лесные проселки? Водители едва успевают крутить руль то влево, то вправо. Мотоциклы ныряют на ухабах, как утки, в нашем что-то поскрипывает. Вот «Урал» скатывается в яму на полметра, подсккивает, и я чувствую, как ветки барабаният по моему шлему.

Где мы? Внимательно разглядываем карту, останавливаем местных жителей. Так и есть: хватили в сторону.

Но вот нащупали дорогу на Тисуль и повеселились.

В Тисуле знакомимся с невестой Виктора Ермолюка, который погиб на острове Даманском. Слушаем бесхитростный рассказ о настойчивом пареньке из многодетной деревенской семьи. Кем бы он стал, чего бы добился? Этого мы никогда не узнаем... Опустила голову невеста. Мы понимаем, горе ее безутешно, и спешим проститься. Долго едем под впечатлением этой короткой встречи.

...Мы и не заметили, как забрались в горы. Они обступают нас со всех сторон, безмолвные, фантастически изогнутые, сказные. Открываем для себя озеро Инголь. Горы окружили чашу прозрачной воды, смотрящей в нее и не могут насмотреться. Вокруг озера — переливы трех цветов: белыми линиями берез расчерчена зелень леса, земля — цвета охры. Тревожно пахнет гарью. Нас принимают за пожарников, которые спешат тушить горящий лес.

Среди наших мотоциклов самый маневренный — «Урал».

Сегодня Паша Любосеев показал класс езде нашему экипажу. Где-то недалеко от села Шарыпова он широким жестом отстранил Иванова: «Я поведу эту бричку». И вот мы троим мчимся так, что воздух становится упругим, и на полчаса раньше других приходим в деревню Усть-Парную, приютившуюся возле озера Большого. Наверное, вот так же обгонял Любосеев своих товарищей на мотогонках...

8 июля. Уезжать от озера Большого никому не хочется. И хотя вчера мы даже не предполагали о его существовании, сегодня мы готовы считать эту гладь воды красивейшим местом Азиатского материка.

Озеро и в самом деле большое: 20 км в длину, 12 — в ширину, «глубина немеряная». Между гор плещется в огромной чаше прозрачная вода.

Вокруг нас места, не расстроенные туристами. Сюда бы забраться на недельку, побродить, половить рыбы, которой очень много у берега в камышах, подышать чистым озерным воздухом. Но мы связаны жестким графиком движения.

Пьем молоко, вкусное, как сливки, и зовим моторы. Озеро еще долго голубеет справа от нас. Наверное, без этого голубого зеркала горы не были бы так красивы.

Гладкие и лобастые, словно их кто-то выгладил гигантским утюгом, они медленно разворачиваются перед нами. Удивительно богата природа на воображение.

...В деревне Коськино нам объявляют, что мы уже в Хакасии.

Стремительно разматываем ленту дороги. Маленькими каплями прозрачной воды — цепь озер. Горы дремлют, размоленные щедрым солнцем.

Человек появился здесь много тысяч лет назад. Пастушеские племена, жившие на этих широтах, не исчезли бесследно. То и дело на нашем пути вырастают скопления плоских камней, поставленных на месте древних захоронений.

Потом как-то сразу кончаются и озера, и горные гряды. Пересекаем малолюдную, безлесную центральную часть Хакасии. После буйства красок на юго-западе непривычно видеть однообразно-унылый степной пейзаж. И такой резкий переход всего на протяжении нескольких часов!

9 июля. Сделав стремительный рейд, пыльные, обожженные хакасским солнцем, мы въехали в Шу-шу-шу, как насмешливо писал родным о месте своей ссылки Ленин. Быстро проскочив деревянное одноэтажное Шушенское, мы попали на огромную строительную площадку. Вот жилой массив, чем-то напоминающий район Дружбы в Кемерове. Только дома здесь стоят не так густо, да и зелени побольше. А это кусочек Новосибирского Академгородка. Дома с цветными балконами и стенами выглядят как нарядные игрушки. Всюду корабельными мачтами висят строительные краны. Огромная стройка живет в напряженном, даже чуть лихорадочном ритме. Ох, и много ожидается новоселий!

Мимо высоких кирпичных труб промышленных предприятий, мимо веселых и разговорчивых рыбаков едем к любимому месту отдыха шушенцев. По висячему мосту переходим на остров. Между густых кустов ракетника идем словно по туннелю из зелени. Очень красиво. Мы знаем, в этих местах возле Енисея Ильич любил совершать прогулки.

Вечер. Горизонт облит малиновым раствором зари. На Пионерской улице, где растет промышленный район Шушенского, затихает шум работ. Угмонились и наш лагерь на берегу Енисея. Впрочем, угмонились ли? Мы допустили роковую ошибку, не поставив палаток. Прожорливые стаи кома-

ров, словно сговорившись, устраивают нам варфоломеевскую ночь. Утром, глядя на марлевые повязки и полотенца вокруг лиц, не узнаем друг друга. Вид у всех — как у отступавших в 1812 году французов.

Перед посещением дома-музея В. И. Ленина чистится и стираем пропылившуюся в дороге одежду. Пример подал Володя Пропова. Вслед за ним и остальные печочкой выстроились в воде у берега.

Только развесили наши майки и рубашки — солнце вмиг все высушило. Оно здесь неистово жаркое, жгучее. Не зря Владимир Ильич назвал в одном из своих писем эти места «сибирской Италией».

Домик-музей Ленина стоит в двух шагах от главной площади. Он знаком нам по кино, по многочисленным снимкам. Да, все так, как говорили и писали другие: спартански строгое убранство комнат, ни малейшего намека на излишество.

70 лет назад это был крепко сколоченный дом. Теперь он стоит почерневший и словно свежийший от старости. Вот под этими окнами часто хаживал человек с огромным светлым лбом и необычайно зоркими глазами. Вот по этим ступеням он по-юношески быстро взбежал на крыльцо. Ему тогда было 27 лет, и он жил в глухом селе, затерянном посреди бескрайнего Азиатского материка. На тысячу верст вокруг одна приличная библиотека — в Красноярске. Центральные газеты приходят через месяцы. До Петербурга и Москвы — центров рабочего движения — далеко-далеко. Но ссылка не так невыносима, если он может встретиться с единомышленниками, сосланными в близлежащие села, и обсудить наболевшие вопросы. Он поражает товарищей нестигаемой волей и бьющей через край жизнерадостностью. «Зачинщик веселья» — напишет потом о нем с благодарностью Г. М. Кржижановский.

...Подолгу стоим перед немногочисленными экспонатами, только часть которых располагалась в этом доме при жизни Владимира Ильича. Чьи-то заботливые руки собрали во дворе вещи крестьянского обихода: сани, конскую утварь, деревянную соху, посуду — все, без чего не обходилось ни одно хозяйство в конце 19 — начале 20 века в Сибири...

Царские сановники, отправляя Ленина в Сибирь, наверное, надеялись, что суровые условия жизни охладят его пыл. Увы! Им ли было знать, что могучий темперамент Владимира Ильича был под стать сибирским просторам. Сибирь не сломила, а закалила его характер, усилила жажду революционной деятельности.

11 июля. Выехали необычно рано, с настроением — к вечеру добраться до Красноярска. Но Виктор Иванов, наш злой гений, опять задал нам трудную задачку. Невеселое это дело — исправлять одну поломку за другой. Да еще натошак...

Большое село у высыхающей речки — Знаменка. А вот и 81-й километр, к которому мы так стремились вчера. Сворачиваем на север, к Красноярску.

Горы — острые пики, вонзившиеся в глубокое небо — сторожат нечто от извечной тоски земледельца о счастье, о зажиточной жизни. Это уже второе село, где нам не удается позавтракать. Столовые здесь открывают в 7 и закрывают в 9 утра. Куда податься бедным туристам? Кому пожаловаться на наш дорожный неуют?

Рыжая оголенная степь. Мосты через пересохшие речки. Вдали горы без леса — невеселые, сиротливые. Ни одного селения на пути. Это владения овечьих отар да сусликов.

Скорее, скорее из этого раскаленного безмолвия!

Качаюсь в седле Иванова. Его продолговатое лицо с загаром в крапинку покрыто бисеринками пота. То и дело Виктор прикладывает к фляжке Назаревича. Может, там не обычный чай, а живая вода?

Слева долина расширяется. На 170-м километре в промежутке между дымчатыми горами кто-то бросил синьки. Это Енисей. Вид у него — как у моря. Это он разрезал горы, раздвинул долину своими богатырскими плечами.

Дорога — как гигантские качели, на которых взлетает — опускаются наши мотоциклы. Вверх-вниз, вверх-вниз. Убаюканный этой качкой, спит в коляске Володя Назаревич.

Пейзаж меняется на глазах. Только что мы ехали безжизненной степью, а теперь перед нами нарядная лесостепь. Рошницы берез зелеными ракетами взлетают на косогоры. До осени еще далеко, но листва уже подернулась осенней позолотой.

Слева в долине белыми квадратиками шиферных крыш светятся дома многочисленных деревень. Справа лихой кавалерийской цепью вытянулись горы. Через эти места катился вал нашествий. Пылали очаги, но человек вновь и вновь возвращался к лепелищам и утверждал свое право обживать эту неласковую землю.

...Колонна останавливается. Нет Игоря Максимова. Вчера он до глубокой ночи гремел ключами под окнами бригадной избушки, чистил и драил свой новенький ИЖ. За ним он ухаживает любовнее, чем крестья-

нин за своим единственным конем.

Конечно, Игорь не выпался. И до нашего похода он целый месяц спал урывками: экзаменационная сессия — не шутка.

На поиски посылаем Володю Пронузу и ждем. Тяжелые, как булыжники, минуты.

«Чем лучше дорога, — философствует Моисеев, вытянувшись на траве во весь свой богатырский рост, — тем для водителей хуже». — «Как так?» — «Очень просто. Внимание притупляется, хочется спать»...

Вот и пропажа. Вид у Игоря — как у бродяги, продиравшегося сквозь колючие заросли. Одна штанина обвисла ключьями, загорелое колено в ссадинах.

И опять постигает переменчивый характер Красноярского меридиана. Запах свежескошенного сена, сопровождавший нас в лесостепи, сменяется густым пихтовым настоем. За районным центром Балахтой попадаем в царство тайги.

Мотоциклы медленно, вразвалку преодолевают ухабы. Вехами на нашем пути — сломанные автомашины. Вот где устроить бы полигон для испытания новейших марок.

80 километров таежного безмолвия. Куда исчезли села? Поистине медвежий уголок... Над головой и чуть в стороне — скалы, живописные, как в первый день творенья. Такое впечатление, будто нас занесло на малообжитый восток Кузбасса.

Зачерпываем воды из малюсенькой речушки Бирусы. Местные жители уверяют, что Пахмутова сложила песню о ней. Нас берет сомнение. Неужели эта извилистая малютка «ломая лед, шумит, поет на голо-са»?...

Возле Дивногорска, прежде чем ступить на асфальт, берем самым настоящим приступом 20 отчаянных километров. Этот отрезок достался нам большим напряжением сил. Кажется, сегодня мы ни на что больше не способны. Позади четыреста долгих и трудных километров.

Но как награда за все тяготы, вдруг на повороте, там, где пихты далеко отбежали одна от другой, перед нами открывается незабываемая панорама.

Внизу — обманчиво спокойный Енисей, прямо — Дивные горы, изваянные резцом сильным и нежным. От берега до берега — каменный вал плотины. Здесь сердце стройки — гидростанция с семью действующими агрегатами. Здесь рождается электрическая река, равной которой не будет ни в США, ни в Европе, ни у нас в стране. 6 миллионов «лошадей», запряженных в одну упряжку — такова мускульная сила исполина.

...Укрепив досафовские флажки, медленной, даже чуть торжественно спускаемся с кручи на уровень плотины, перебираемся на другой берег и вырываемся из потока машин, следующих вдоль набережной Дивногорска. Круто вверх ползет спираль подъема. Кажется, протяни руку — и дотронешься до гор. Подсвеченные закатом, они спокойны и величавы. Такой своеобразной красоты я не встречал ни в Горном Алтае, ни в Высоких Татрах.

12 июля. Едем по знаменитому Московскому тракту. Откровенно говоря, мы были о нем лучшего мнения.

Тайга уступила место березовым рощам, пихтовому редколесью да зеленому раздолью полей. Деревень — как семечек в подсолнухе. Пейзаж — такой же, как под Арзамасом или Владимиром. Слово мы по мановению волшебной палочки очутились в Европейской части России.

На самом же деле мы пересекаем с запада на восток огромный Красноярский край. Суровая и ласковая сибирская земля: неоглядные дали, простор, какой не снится многим на Западе.

Помнится, Чехословакию мы, туристы, проехали из конца в конец за день. Сибирские просторы так просто не одолеешь. От сибирского размаха нельзя не захмелеть. Он вошел в нашу жизнь как символ возможностей советского человека. Сибирский характер, твердый и решительный, — синоним покорителя природы.

13 июля. Одно дорожное происшествие позволило мне поближе приглядеться к жизни обыкновенного незаметного села.

Село Большая Уря, на въезде в которое мы вынуждены были остановиться, — это два больших ряда изб, разрезаемых Московским трактом. Еще живы старики, видевшие, как по тракту гнали людей на вечную каторгу. Звон кандалов, стоны — разве это когда-нибудь вытравится из памяти?

В старину село считалось разбойничьим. Место для лихого промысла было выбрано удачное: крутой въезд и крутой выезд легко перекрыть.

В гражданскую войну здесь шли ожесточенные бои. Этот тракт помнит и тех, кто уходил в 1941-м защищать подступы к столице.

Обо всем этом и узнали от жителей — приветливых, любознательных, разговорчивых...

...Сидим на лавочке возле калитки, а женщины, сложив руки на груди, смотрят, как мы пьем молоко, и все предлагают: «Кушайте, кушайте. Мы вам еще простоквашу из погреба достанем. Не стесняйтесь»...

Среди них Елизавета Савельевна Куприянова — женщина в годах, красивая тревожной отцветающей красотой. Она мать солдата, который служит на границе.

— Наверное, его в форме не узнать, — вслух думает женщина.

В ее представлении он остался большим мальчишкой, которого надо еще наставлять уму-разуму.

Сын писал часто, и матери доставляло большое удовольствие, когда соседки спрашивали:

— Что, Савельевна, опять весточку Николай прислал?..

В марте почта не принесла ей ни одного письма. Потом сын написал коротко и скупо: «Все в порядке. Опять еду в командировку. Положение, сами понимаете, напряженное».

Раненой птицей — сердце матери:

— Лишь бы он был жив.

В ее словах только боль и недоумение.

...С каждой сотней километров мы все ближе к границе. Все происходящее там теперь воспринимается нами более обостренно.

14 июля. Поставили точку на Канске и развернули мотоциклы на восток. Незаметно нас обступила тайга. Проезжаем безвестные селения, о которых ни песен не сложено, ни доброго слова никто не сказал. Древние старухи, сидя на завалинках, глядели на нас выцветшими глазами. Поленицы березовых дров у заборов — словно веселые брызги солнца.

Приятно шуршат по асфальту шины. Город Иланский — один из немногих посреди таежного безбрежья. Отсюда до Иркутска 800 километров.

Сегодня Московский тракт к нам милостив: меньше выбоин и ухабов. Да и выехали мы поздно, когда по селам и деревням рассосался поток машин.

На развилке дорог Иванов притормаживает. Три смеющихся лица возникают слева от нас. «Где канистра? — кричит Володя Гольцев с красным от смеха лицом. — Вот артисты!». Иванов беспомощно оглядывается. Чего только он не терял: номер, очки, фляжку...

Подъезжают Монсеевы. Лена, словно ребенка, бережно поддерживает железную емкость с бензином.

15 июля. Утро неласковое, хмурое. Но мы рады и ему. Даже по-крымски щедрое солнце может надоесть. Лена с тревогой заглядывает в зеркало, нос у нее обгорел и шелушится во второй раз.

Пять наших мотоциклов будят сонную тишину села Решеты — местной столицы

лесозаготовителей. Промелькнули деревенька Ключи и река Верблюд. Здесь пролегает грань между Красноярским краем и Иркутской областью.

Отсюда спешат на запад и юг эшелоны: с пиловочником — на экспорт, с рудничной стойкой — на шахты нашего Кузбасса, скипидар — тоже отсюда. Здесь заготавливают пихтовое масло, которое охотно покупает Канада, хвойновитаминную муку для животноводства, еловое и лиственничное корье для производства дубильного экстракта.

Скоро строители трассы Богучаны — Решеты забудут серебряный костыль, и через местную столицу лесозаготовителей потянутся эшелоны с ангарской сосной.

...Медовый запах трав. Шумные вздохи великой Транссибирской магистрали. Река широкая, но обмелевшая, с беспомощно застывшим посреди нее паромом. Бюрося. Та самая. Ищем другой паром, натываемся на белото, блуждаем по проселочным дорогам и, наконец, сходимся все вместе на берегу. Похоже, нас хотят удивить. На одиннадцатые сутки пробега мы впервые под дождем. Эге, такого уговора не было! Паша достает непромокаемый гидрокостюм, надевает брюки, а куртку отдает Гольцеву. Сразу на нас повеяло чем-то родным, шахтерским.

Дождь — сильнее, а паром еще только отошел от того берега. Накрываемся палаткой, Игорь вынимает киноаппарат и бегаёт вокруг. Стоящий рядом старик, закрывший голову и спину от дождя мешком, трогает свои рыжие усы: «Меня тоже приезжали снимать... Из самого Иркутска... в 1942 году». Комсомолец военных лет, он подарил две тысячи рублей — все свои сбережения — на строительство танковой колонны.

В память о тех, кто не жалел ничего — ни денег, ни крови, ни самой жизни для победы над фашизмом, теперь в Иркутске на пьедестал водружен танк с бортовой надписью «Иркутский комсомолец».

...На коротких привалах ведем счет пройденным километрам. Сегодня их не назовешь тяжелыми. Московский тракт вежлив и покорен, и мы готовы взять назад обидные слова, которые у нас слетели в его адрес два дня назад.

Московский тракт... Нет и 300 лет с тех пор, как он был учрежден по царскому указу. Не сразу строилась Москва, не сразу пролегал через всю Сибирь и Московский тракт. Сначала — до Тобольска, затем — до Томска. Далее через Марининск, Красноярск и Иркутск до Кяхты. Здесь, в пограничном с Китаем пункте, русские в обмен на меха, кожу, мед, золото получали от китайцев чай, фарфор, бархат, шелк, атлас.

Московский тракт — одна из самых трагических дорог в истории человечества. Не сосчитать могильных крестов по обеим сторонам от нее. Гибли беглые крепостные рабы, пробивавшиеся на восток в поисках земли обетованной. Падали под ударами кистеней ямщики. Кандальный звон похоронной мелодией плыл над сибирскими просторами.

В наше время московский тракт — жизненно важный нерв Сибири.

Деревни густо высыпали на магистраль. Русские названия побратались с иноязычными. Вслушайтесь: Разгон, Облепиха, Никольское, Алмазай, Алгаш, Зангор, ласковая и нежная Замзорка, Камышет, Ук-Мара. И вдруг неожиданная в этих дебрях Байроновка. Снова — Хингуй, Шеберта... Какие племена и народы оставили эту звучную память о себе? На 25 тысячелетий вглубь прослеживают ученые историю Сибири. Всего 280 лет Московскому тракту.

...Ночь пахнула на нас густым запахом трав и пригнула все вокруг. Негоропливо затаскиваем наши вещи в бывший попковский дом, а теперь клуб деревушки Трактово-Курзан. Сюда на огонек уже потянулась молодежь. Польщенные оказанным им вниманием, веселые доярки охотно рассказывают про свое житье-бытье. Заботы их просты и бесхитростны.

Самое большое событие: 10 дней назад прошел дождь, и посевы ожили. Здесь, в небольшой деревушке из 70—75 изб, как-то резче чувствуешь, ценой каких усилий человек добывает себе хлеб насущный...

Мчимся стремглав навстречу солнцу. Только что Лева на короткой остановке сказал: «Ночью или днем, а мы должны быть сегодня в Иркутске». Никто, даже Паша, не возразил. Значит, нам придется пройти 400 км с лишним.

Искоса посматриваю на Иванова. Наш с Назаревичем водитель, обычно не в меру говорливый, сегодня тихий и присмиревший. Утром он поднялся на три часа раньше всех и долго возился со своей машиной. Подействовал вчерашний разговор. Ребята, наконец, поставили вопрос ребром: сможет ли мотоцикл Виктора без поломок продолжать дальнейший путь или же его лучше вернуть с трассы домой?

Утром километры летят незаметно. Быстро пролетали по деревянному городку Тулуну, но на выезде нас задержал прокол шины. Ржавый гвоздь вручаем Лева: в его копилке уже много подобных дорожных «сюрпризов».

Моисеев принимает «дар» без обычной в таких случаях улыбки. Лена — туча-тучей.

Что случилось? Ага, ясно: нет Пронозы. Как раз перед нами черной громадой маячит 25-кубовый шагающий экскаватор с длиной стрелы 100 метров. Он стоит перед отвалами Азейского карьера. Мог ли специалист по открытым горным работам Проноза пропустить такой миг и не заглянуть сюда?

Моисеева тоже можно понять: кому понравится непредвиденные задержки на таком длинном отрезке, как сегодняшний?

...Быстро рассекаем равнину. Качаются в глазах поля пшеницы и кукурузы. Радуются: виды на урожай неплохие. Лес ушел к горизонту, выгнулся там подковой — попробуй, разогни!

Словно кто-то швырнул нам под ноги пригоршню домов. Опять — Тракторное! Вот остались за поворотом узкие улочки Куйтуня. И опять качаются в глазах поля. И опять подкову леса на горизонте никак не разогнуть.

Где-то за Кимильтеем — речка. Под мостом барахтаются ребятишки. Посреди спокойного зеркала воды застыла лодка. А берег цветет разноцветными рубашками. Что-то сжимает сердце. Приглядишься: это и твоё детство сидит с удочками на берегу.

Впереди — Зима. Это слово высекает у нас улыбку. Как будто взяли и смешали в нашем походном календаре все времена года. В 25 градусов жары, в самый разгар лета встречаемся... с Зимой.

Короткий взгляд на город «с тыла» — со стороны вокзала, и опять на восток. По сторонам — веселый березовый лес, но трасса не радует: вся она изъязвлена выбоинами и ухабами.

Вот ухабы сошлись в гармошку. Наш мотоцикл прыгает на них, как норовистый конь, и скатывается в канаву. Меня выкидывает из седла.

Подъехал Володя Проноза — утешает:

— Знаешь, один раз мне рычагом сцепления порвало ногу. Рана — длиной 18 см... Через месяц выписался — и снова на мотоцикл. Упал и задел ту же кость. Нога распухла — во!.. Началось заражение крови. Врачи хотели отрезать, да обошлось...

Я давно заметил: наши ветераны воспринимают трудности как должное — со спокойствием, выдержкой и даже некоторой проницательностью.

...Веселые березы кончились. Перед глазами расстилается равнина с редкими рощицами. Не задерживаясь, проскакиваем через рабочие поселки. Вечерет. Только проехали станцию Жаргон, как очутились в шахтерской столице Черемхово. Вдыхаем знакомые запахи. Черными чудовищами мимо проплывают терриконы.

Стемнело. Очертания предметов еле угадываются.

Призрачный свет фар ощупывает неровности дороги. Скорость — черепашья. То Паша Любосеев, то Володя Гольцев возбужденно предлагают остановиться «хоть где». Но «хоть где» не остановишься: кругом безлесная равнина и ни одной речки.

Дорога выносит нас на редкие огни какого-то поселка. Сворачиваем в черноту слева, и перед нами вырастает вагончик. Валимся на голые нары: под головы — шлемы, на себя — наши солдатские бушлаты. Ночь — черная, беззвездная — притаилась за окном, стережет наш покой...

17 июля. Тр-р-рах!! С грохотом падают нары, на которых резко повернулся наш руководитель. Из-под досок внизу сонно, неопиомающее выглядывает Лева.

Все мгновенно подскокнули, всем почему-то весело.

— Тут явный умысел, — посмеивается Игорь Максимов, — сознайся, Лева, ты хотел избавиться от своей жены?..

Лева гасит шутку Игоря своей осторожной улыбкой и выпрыгивает из вагончика вниз, туда, где потгивается, лежа на двух мотоциклах, весь какой-то помятый, непроспавшийся Володя Гольцев.

Паша «заводит» сторожа, который принял нас за солдат. Леву он называет полковником, Назаревича — майором интендантской службы, остальных — лейтенантами, «мальчиками на побегушках». В другое время мы охотно бы приняли участие в этом шутильном розыгрыше, но сейчас некогда. До Иркутска еще 100 километров, а въехать в него мы еще не готовы: предстоит привести себя в порядок, помыть мотоциклы, перекусить...

Надо бы дать телеграмму в автотоклуб, предупредить о нашем приезде. Мы не сделали этого перед въездом в Красноярск, похоже на то, что мы «без шума», как говорил Моисеев, въедем и в Иркутск.

«Без шума» — это значит никаких встреч и экскурсий. Саматошные мотания по мало-знакомому городу и крылатая, все завершающая фраза: «Заводи, поехали!».

...Ровный рокот пяти моторов. Равнина. Асфальт. Ветер в лицо. Мы соскучились по большим скоростям.

Налево дымят огромные трубы, раскинулись заводские корпуса. Усолье-Сибирское. За ним — Ангарск.

Стрелы кранов, зацепившиеся за горизонт, знакомые переплетения труб, «лисы» хвосты дыма над заводами. Тут и там островки ангарской сосны. Равнина кончилась.

Мимо пулей выстреливает желтый ИЖ

Игоря Максимова: он будет снимать на киноплёнку въезд нашей мотогруппы в самый большой город на Ангаре.

Залитые солнцем широкие проспекты привели нас в старинный центр города. Красивые, с замысловатой каменной вязью дома словно сошли со старинной гравюры.

Пожалуй, ни в одном сибирском городе не переплетается так причудливо новое и старое. Рядом с могучим крепышом из бетона и стекла можно увидеть каменного карлика, которому суждено жить от силы год-два.

Совсем недалеко от огромных корпусов Иркутского тяжмаша — одноэтажные деревянные домов. Побуревшие от времени бревна, окна вровень с носком вашего сапога, голубые ставенки, закрывающиеся на ночь, — прошлое напоминает о себе то почерневшим от времени памятником, то названием улицы: Радищева, Желябова, Сухэ-Батора, Красных мадьяр, Рабочего штаба.

Вот по этой булыжной мостовой, возможно, ходили декабристы. По лестнице этого дома, стоящего на оживленнейшем перекрестке, поднимался комиссар пятой Красной Армии, чешский писатель Ярослав Гашек.

И в прошлом, и теперь Иркутск — шумный перекресток на востоке страны. Город машиностроителей, студентов, геологов и ученых, он смело смотрит в свое будущее. Зачем сюда спешат люди со всего света? Конечно, не для того, чтобы увидеть музейные редкости, хотя и они по-своему интересны и необычны: башня Иркутского острога, решетка Александровского централа, тачка ленских рабочих, доспехи русского воина, сражавшегося в отряде Ермака, изображение шамана с бубном — этого божка диких в недавнем прошлом племен, живших представлениями каменного века, Англичане и африканцы, индусы и латиноамериканцы приезжают сюда, чтобы увидеть волшебное превращение околоченней от морозов тайги, стремительный порыв к свету потомков Ермака.

...Голубой меч, разрезающий город — Ангара. Прозрачная, чистая, как слеза, вода из легендарного Байкала бьется в стенку платины. Здесь, в каменном чреве, рождается одно из самых ярких искусстванных солнц на Земле.

Делаем прощальный круг по центральной площади, затем сворачиваем на набережную, на мост и взбираемся на самую высокую точку города. Застывшими каменными волнами половодье домов внизу, перламутровый блеск Ангары.

Несколько головокружительных спусков и крутых подъемов. Слово взвешивая на

невидимых весах, каждый произносит новое на нашем пути название — Слюдянка. Это место предполагаемой ночевки. А пока вокруг нас места, чем-то напоминающие сказочную красоту Чуйского тракта. После спусков невообразимой крутизны — зигзагом взлетающие вверх подъемы. Кажется, вместе с нами карабкаются пихты и сосны. Предательские, под прямым углом повороты. Пьянящий запах хвоя и неожиданное ощущение холода и сырости, как на дне колодца.

Наш «Урал» вначале легко берет подъемы, потом сдает. Все ушли вперед, а мы застряли в самом начале большого подъема. Из двух цилиндров работает один. Что делать? Наконец, придумали. Вдвоем затаскиваем мотоцикл в гору, потом на спуске Виктор Иванов его заводит. Заскакиваем на ходу и мчимся до следующей горы. Картина повторяется. Стучит сердце, рубашка прилипла к спине, но про себя я улыбаюсь: смешно, наверное, наблюдать со стороны, как двое путешественников тащат на себе по отличнейшему асфальту в гору мотоцикл.

Быстро падает на горы ночь. Достаю шахтерскую лампочку и направляю луч на неровности дороги. В глубокой яме между гор — щелотка домов. Две тени — Назаревич и Моисеев — нам навстречу:

— Здесь ночуем.

Молодой плечистый хозяин квартиры, где мы остановились, уточняет:

— На 55-м километре застряли? Этот подъем у нас называется «тещин язык».

По большому двору, где бы уместился табун лошадей, ходит Лена и протяжно говорит:

— Хочу-у жа-реной ка-артошки...

— Картошки? Она же на дне мешка, — пугает Игорь.

— Ну и что? — храбрится Лена.

Ее не смущает даже то, что завтра придется выполнять мучительную операцию — упаковывать наши необъятные прорезиненные мешки.

Володя Назаревич вскрывает цилиндр ивановского мотоцикла и делает страшные глаза:

— Там поршень прогорел...

Судьба Иванова решена: от Слюдянки он поедет на запад, домой.

18 июля. Утром хозяйшка, высокая и ладная, вошла в нашу половину избы, ласково сказала:

— Вот чай и пирожки. Кушайте.

Мы переглянулись: так угощают только самых дорогих гостей.

Разговорились. Она оказалась учительни-

цей. В школу, что рядом с ее домом, ходит всего 10 учеников. Уже из названия деревни — Большая-Глубокая — видно, что когда-то здесь стояло много дворов.

Тут располагался крупный леспромхоз, потом, когда лес вырубил, управление и рабочих перевели в другое место. И сейчас здесь тихо и малолудно. Лучше не найти места для отдыха утомившемуся путнику. Места — красоты непередаваемой. Со всех сторон деревенку теснят горы — то суровые и мрачные, то смягченные овалами седловин, — таинственные, непрístupные...

Опять резкие повороты, пугающие своей бездонностью пропасти то слева, то справа. На перевале застыл автобус: из-под задних колес его валит дым.

Поворот — и перед нами выросли, словно задымленные, горы. Они высокие-высокие, а кто-то щедрый плеснул им под ноги богатырскую пригоршню серебра. Здравствуй, Байкал, древний и вечно юный, неоглядный и необъятный, то неистовый и неукротимый, то нежно ластящийся, как котенок.

По берегу озера игрушечный тепловоз тащит игрушечные вагоны. Внизу, правее, распластался поселок Култук. Зрелище захватывающее.

Интересно, каким предстал Байкал перед Курбатом Ивановым, который первым из русских увидел его в 1643 году? Поразил ли он его атласной поверхностью, безмятежьем и добродушием? Или обрушил на ладьи самый грозный ветер — горный?

Мальчишки из Слюдянки, которых мы попросили кратчайшим путем привести нас к озеру, сообщили, что сегодня на Байкале первый солнечный день после двух недель дождей и туманов. Вместе со старожилками открываем сезон купания. Оскользаясь о камни, заходим в воду. Она ледяная, прозрачная. Ноги быстро немеют, но сверху плавать можно. Испуганным медведем выпрыгивает на берег Проноза и валится кверху животом между огромных мраморных камней. Вскоре в шум волн входит его богатырский сонный посвист. Справа от нас лодочная станция. Вид у нее убогий и невеселый, а ведь так немного надо фантазии, чтобы украсить и облагородить этот уголок, чтобы превратить побережье Байкала в туристскую Мекку.

Всматриваемся в голубые очертания противоположного берега, до которого, как нам сказали, 16 километров. Там село Листвянка, Шаманий камень, исток красавицы Ангары, там огромным гнездом взметнулся над поселком Лимнологический институт — единственное в мире научно-исследовательское учреждение по изучению озер.

В Слюдянке ночевать не придется. Моисеев верен себе, — торопит: «Байкал от нас не уйдет никуда. Впереди — очень трудный участок, преодолеть его до дождей».

Поредели наши ряды. В Слюдянке остаются Иванов, Гольцев, Паша Любосеев. Паша собирался и дальше идти на восток, но вышло так, что он вынужден был остаться. Зато Фадеев, который решил было вернуться в Кемерово, вдруг раздумал и бросил свой рюкзак на мотоцикл Моисеева, за руль которого сел Володя Назаревич.

Четыре мотоцикла резко берут с места, и вот уже бегут назад километры. Асфальт все выше. Слева, в бездне, — Байкал. Светлая сталь озера не всколышется. И посреди этой пустыни — одинокий корабль. Горы на том берегу скрыты плотной белой завесой тумана.

Вскоре асфальт кончается. Карбакаемся под облака. Солнце ныряет в верхушках сосен. Байкал невозмутим и умиротворен. Закат подсвечивает его, по водному зеркалу бегут три серебристые дорожки. Потом мы оставляем озеро в стороне, с полчаса трясемся по бугристой дороге, упираемся в большую усадьбу, где живет дорожный мастер, договариваемся о ночлеге, идем умыться и... оказываемся на протоке Байкала. Все здесь начинается и кончается священным Байкалом.

19 июля. Первый вопрос, который мы задаем всем встречным, с кем удается перекинуться хотя бы несколькими словами: «Не застрянем ли мы за Танхоём?» Задаем этот вопрос и Николаю Ивановичу Туркину, дорожному мастеру. Он бросает короткий взгляд на наши пропылившиеся мотоциклы и отвечает: «С этими пробьетесь». Николай Иванович сухопар, жилист и очень подвижен. Здесь, в тихой заводи, он живет с женой и дочкой Аленушкой уже третий год. Летом, когда все цветет, тут красиво. Зимой ветры, которые дуют с двух направлений, несут большие сугробы.

Мне немного не по себе: человек добровольно приехал в глухомань, одиноко, в стороне от бурной жизни устроил свой маленький мир и доволен. Почему?

— В городе надоело, — просто отвечает бывший выпускник Иркутского лесотехнического техникума.

Разгадка проста: здесь он может наблюдать закаты и рассветы, вдыхать запах трав, бродить по лесистым склонам гор, здесь он чувствует свое единение, свою неразрывную связь с природой. А мы сами — разве нет у нас цели восстановить утраченное в городе равновесие, вернуть в себя запахи и краски родной земли?..

...Едем по коридору из ярко-розовых цветов. Дороги-временки все чаще сменяются хорошими участками. Строители основательно взялись за эту трассу. Не сосчитать выстроившихся вдоль нее бульдозеров, катков, машин...

Село со звучным названием Танхой. Мы знаем: скоро начнется бездорожье. О нем нам говорили в Слюдянке. В мельчайших подробностях расспрашиваем про каждый свороток, про каждый подъем. Готовы ли мы к предстоящим испытаниям?

Колеса простучали по мосту. Успел заметить: вода прозрачна — можно сосчитать камни на дне. И еще увидел горы, словно задернутые синей вуалью. Распадок, объезд... и началось!

Между камней и пней, через ямы перетаскиваем сначала «Уралы», потом ИЖи. Бурливые речки надолго задерживают нас. А вот еще одно препятствие: торфяник. Наш мотоцикл соскальзывает с колеи и плюх, как в тесто, — в жидкое коричневое месиво. Мы с Назаревичем аж взмокли, а «бричка» ни с места.

Подбегает Лева: «Дай, я!» Привычным движением хватает за ручку коляски, рывок на себя, мы дружно толкаем — и мотоцикл на сухом месте.

В десяти шагах от нас Байкал. Вчера это был седой старец, умудренный опытом, сегодня — разгулявшийся добрый молодец. Место, которое мы преодолеваем, называется «Прибой». Здесь Байкал бьет в берег тугими накатами волн. Рядом железная дорога. Что будет, когда седой старик разбухнет? Впрочем, подступы к рельсам укреплены железобетоном, кое-где сделаны гранитные парапеты. Удары волн смягчают кучи песка, щебня, огромные валуны и галька.

Но нам-то каково? Моисеев то и дело предупреждает: «Не заденьте цилиндра!» Назаревич хитрит, сворачивает машину с валунов прямо в Байкал, в еле заметную колею. Толкаем, задыхаясь, и останавливаемся! Застряли в яме. Одно колесо на метр выше другого. Тут без медвежьей силы Володи Прозоры не обойтись. Пока он подходит, зачерпываем холодной байкальской воды и — в лицо и на грудь. Сразу становится легче. Волны освещают солнечной рябью, берег цветет зеленью водорослей.

Мой водитель отдает Лене свой металлический сейф, с которым он не расстанется даже ночью:

— Доверяю.

— Мы его сейчас под колеса бросать будем — вместо досок.

Наш «банкир» принимает шутку:

— Считайте, что вы бросили под ноги свой обед...

— А ну, навались! — свирепо кричит Лева.

Мы наваливаемся, Проноза примеривается: секунда — и колесо вытаснено из ямы. Но впереди — новые препятствия.

Потерян счет часам. Каждый метр достается великим потом. Природа словно испытывает наше терпение.

В минуту отдыха достаю карту этого отрезка, составленную дорожными строителями. Идем правильно. Но почему так долго нет речки Мишихи, где должны кончиться наши мучения?

Дорога — если можно так назвать беспорядочное нагромождение камней — круто сворачивает направо.

— Подъем метров 50, а там сухо, — кричит сверху Проноза, посланный на разведку.

50 метров, но зато каких! Спотыкаясь и падая, тащим на себе мотоциклы вверх. Мы уже давно по достоинству оценили их стальные мышцы. Но сейчас и они не в силах прорваться сквозь зыбкое крошево грязи и травы.

Все? Мы наверху, на опушке леса. Маленькая бурятка косит траву на лугу. «Мо-лока надо?» — спрашивает она.

Какая удача! Может, и омуль у нее найдется? Но нет: мы слишком многого хотим. Отламываем ломти пшеничного хлеба и пьем, пьем... Двух больших банок молока как не бывало.

Смотрим: семь километров мы преодолели семь часов. И снова в путь, теперь уже по лесным дорогам. Но разбежаться снова не удалось: впереди блеснуло болото. Долго принашиваемся, пока, наконец, не решаем испробовать бурлацкий метод. Привязываем к «Уралу» толстую бечеву, беремся за нее, выталкивая вперед нашего заперщика Володю Пронозу, и трогаем.

— Эх, Дубинушка, ухнем, эх, зеленая, сама пойдет...

Оглядываемся. Неужто это мы прошли по зыбкой трясины.

— Запах чувствуешь? — поднимает меня глаза Назаревич. — Похоже, сцепление подгорело.

В довершение ко всему в бачке ни капли бензина.

Достаем запасную емкость, направляемся. Неутомимый Проноза, уже успевший наведаться к дорожному мастеру, показывает из-за деревьев и — к нам.

— Давай деньги, — заговорщически го-

ворит он. — Тут у одного есть омуль.

Быть на Байкале — и не попробовать знаменитого байкальского омуля? И вот мы сидим в широком дворе у забора, плотным кольцом окружив стол, на который проворная хозяйка с кремовым загаром на лице и плечах выставляет картошку, лук, редиску и... омуля. Отправляя мягкие соленые пластики в рот, рассуждаем о том, почему раньше так много было омуля — на базар возами возили, — и почему теперь его не стало. Вот уже который год действует запрет на ловлю омуля сетями. Введенный по совету ученых Лимнологического института, этот запрет призван сохранить молодняк и в конечном итоге умножить омулевое богатство Байкала. Но на удочку омуль ловить разрешается.

Застенчиво улыбаясь, загорелая хозяйка встает:

— Может, чаю?

Никто не отказывается, хотя час назад каждый выпил по литру молока.

— У вас есть обруч? — останавливает хозяйку Назаревич. Говорит он серьезно, но глаза его смеются.

— Зачем? — не понимает женщина.

— А чтобы Пронозе живот стянуть, — взрывается хохотом Володя.

После невероятно трудного дня у всех отличное настроение!

...Эх, дороги! В мягких сумерках продолжаем путь. Поворот, спуск по камням.

Здравствуй, речка Мишиха! Долго же мы стремились к тебе! Много сил положили на камнях, омытых и сглаженных водой седого Байкала, и все-таки прорвались.

Широкая автомобильная дорога, младшая сестра железнодорожной магистрали. Деревня Ключевка, насквозь пропахшая сосновыми досками. Остановка. Мы в 8—10 километрах от города Бабушкина, названного в честь выдающегося русского революционера, расстрелянного в 1905 году царскими палачами на станции Мысовая.

У леспромхозовского шофера Леонида Байбородина моемся в бане, потом, слушая рассказы на местные темы — про пожары и про медведей, едим омуля и пьем чай.

У другого леспромхозовского шофера — Николая Краснокутского, укладываемся спать. С мыслью — какие все же замечательные люди у нас в Сибири! — погружаемся в глубокий сон...

20 июля. Мы в Бурятии — горно-степном крае, омываемом на севере водами Байкала, а на юге граничащем с Монголией. Человек здесь ведет вечную битву с природой: с паводками, которые заливают в июле-августе сенокосные угодья, с засухой

на Селенгинском среднегорье. Горы меняют представления о севере и юге. Рядом вы встретите тайгу и сухие степи, высокогорные луга с так называемой альпийской и субальпийской растительностью и богатые медоносами долины, пересыхающие реки и болотистые низины.

От 150 до 200 дней в году реки скованы ледяным панцирем.

Контрасты, контрасты... Вечная мерзлота, в которой недавно обнаружили хорошо сохранившийся труп мамонта — неплохой экспонат для Бурятского краеведческого музея, и целебные источники, которыми Автономная республика так же богата, как Кавказ.

...В 10 часов выезжаем из города Бабушкина.

Берем направление на Улан-Удэ. Трасса пролегает по густонаселенным районам Бурятии. Косари долго провожают нас взглядами: и куда это спешит кавалькада мотоциклистов, одетых в зеленые солдатские бушлаты?

Провожаем взглядом Байкал. Потемнел старик, принахмурился.

Мавзолеи цветов слева и справа. В зеленень берез вкраплена желтизна. Видать, в полную силу поработал проклятый сухойей.

В селе Боярск, знаменитом не только своей стариной, но и мощными залежами графита, в последний раз выходим на свидание с Байкалом. Вид у него суровый, предгрозовый.

Путь в столицу Бурятии лежит мимо поселка Каменска. Еще издали примечаем высокие трубы Тимлюйского цементно-шиферного завода.

Недалеко от него — автозаправочная станция. Какой здесь любознательный народ! Нас обступили со всех сторон, бомбардируют вопросами: и как удалось собраться в такой поход, и кто помог, и нельзя ли купить спортивную резину. И вопрос, который вызывает у нас улыбку «Какая награда вам будет за этот пробег?» Влетаем в чистый, по-домашнему уютный поселок Кабанск. Избы добротные: сразу видно, что живут здесь зажиточно. Самая большая достопримечательность — рыбный завод.

На выезде из села читаем надпись на щите, из которой следует, что Кабанск основан в 1668 году. До этих глухих мест Московская Русь простерла свои руки еще в 17-м веке. А в 19-м веке здесь томился декабрист Глебов...

Словно сказочное видение, на нас навывает село Тресково. Голубыми брызгами в глаза — наличники окон. Нигде и никогда не виденный, невыразимой прелести цвето-

вой эффект. Здесь люди поклоняются красоте. Добрые и ласковые руки прикоснулись к окнам, развесили вокруг них нарядное деревянное кружево.

Давно уже исчезло село Тресково, а я все не могу опомниться. Никогда не забыть этого голубого буйства красок, напомнившего мне всплеск байкальских волн...

21 июля. Улан-Удэ лежит в большой котловине между гор, у впадения реки Уды в Селенгу. Город пестрый, весь какой-то разномастный: рядом с красивыми четырехэтажными домами — подслеповатые каменные домишки, в двух шагах от шумных центральных улиц тихие, сонные переулочки. Здесь русская кровь перемешалась с бурятской. Попробуйте, проведите в Улан-Удэ грань между русским и бурятским — ничего у вас не получится. Еще 310 лет назад маленький народ, затерявшийся в байкальских степях и лесах, заявил о вхождении в состав Московской Руси. Потом русских и бурят породнила революция. В огне беспощадной борьбы с самодержавием и белогвардейщиной счастьем для обоих народов добывали руководители забайкальских большевиков В. К. Курнатовский и первый бурятский революционер Цыремпил Ранжиров. Ради того, чтобы кочевой народ поднялся к свету грамотности и высокой культуры и обрел государственность, отдал свою жизнь талантливым пропагандистам ленинских идей И. В. Бабушкин.

На площади Революции благодарные потомки поставили памятник первому председателю Верхнеудинского (так до 1934 года назывался город Улан-Удэ) Совета Василию Матвеевичу Серову. Это был человек незаурядных способностей, эрудит в области философии, политэкономии, литературы и искусства. В 30 лет — депутат Государственной думы, член ее большевистской фракции. Отправленный на каторгу, он писал родным: «Путь по этапу был далек и труден. Кандалы натирали на ногах кровавые мозоли размером с куриное яйцо. Но за народ, за наше великое правое дело можно перенести и не это».

...Прощаемся с начальником Улан-Удэского автомотоклуба и берем направление на Хоринск. Вот и оно, Селенгинское среднегорье. По обеим сторонам дороги — безжизненная степь. Полуторамесячный зной выжег поля, их перепалили и пересеяли.

В 60 километрах от Улан-Удэ асфальт обрывается, тряская песчаная дорога выматывает всю душу.

...Не заметили, как над нами сгустились тучи. Дождь смочил стекла моих очков и перестал. Ловлю себя на том, что все уже

было: и эта насыпная песчано-гравийная дорога, и горы, сдвинутые к горизонту, кичащиеся своей неприступностью, и эта степь, побывавшая в смертельных объятиях суховея, и крепнущий ветер в лицо. Вот только свинцовых туч над головой не было. Тучи виснут пугающе низко, цепляются за хребты. Прямо впереди огромное пятно чернильного цвета. Проскочим? Нет, не удалось. Иголки дождя колют лицо, струйки текут по животу и спине. Расслабляемся — пусть льет, пусть пронзает истосковавшуюся землю благодатной, живительной влагой. Если б этот поток упал на полмесяца раньше!

Выскочили вперед и словно попали в другое царство. Земля сухая и безжизненная. — Не видно? — спрашивает Назаревич, выливая воду из сапог.

Оглядываюсь. Володи Пронозы нет. Мы беспокоимся за него: как бы замутненные очки не сыграли с Володей злую шутку. Но вот и он, мокрый и веселый. Теперь надо пагнать ушедших вперед.

Проскочили деревеньку, мимо наших ребят, бегущих от магазина к мотоциклам, и... попали в водоворот дождя.

Словно ночью, нас обступила темнота. Назаревич дает малый ход. Дождь бьет паотмаш тугими струями. Штаны, бушлат, рубахи — все сразу взмокло. Ну и ну! Не дождь, а всемирный потоп.

Наконец, вырываемся из плена стихии и поджидаем остальных. Они появляются возбужденные, радостные и громко, перебивая друг друга, обсуждают свои переживания.

Горы потеряли свой внушительный вид. Еще недавно зеленые, они почернели и стали незнакомыми, таинственными...

...Уже поздно, когда перед нами возникают огни Хоринска, столицы одного из самых больших аймаков Бурятии.

Стучимся в гостиницу. Мы уже забыли, когда в последний раз спали на чистых простынях...

22 июля. Собираемся в дорогу непривычно быстро. Дождь поторавливает. Все, даже Лена, заезжают в прорезиненные штаны и куртки.

В селе со звучным названием Сосново-Озерское — центре Еравнинского аймака — нам предлагают остановиться на несколько дней, порыбачить на Щучьем озере, съездить в поселки Колчеданный и Гунда. Бурятия с гордостью сообщают, что их Еравнинский аймак по площади равен Армянской ССР, что недалеко отсюда на реке Уде начинается 110-метровый пласт каменного угля, который залегают прямо на поверхности, «надо только лопату снять», и еще оказывается, что от самого села Комсомольского

(«Вы его проезжали — это бывшее село Погромное, там была организована первая комсомольская ячейка в нашем аймаке») до села Телембы, что на реке Витим («Читали «Угрюм-реку»? В ней как раз про те места описано») тянется железорудное тело 240 км длиной! Содержание железа в руде очень высокое.

Сосново-Озерское — в нем сейчас 5 тысяч жителей — снесут, а в 40 км отсюда заложат город. И станет животноводческий центр центром бурятской металлургии!

...Слева от нас долго тянутся озера. Они внушительных размеров: раковина Большой Еравни вытянулась в длину на 56 км.

Вспоминается: «Степь да степь кругом, путь далек лежит...». Ни встречных машин, ни придорожных деревень. Только орлы да коршуны парят в вышине. Вижу: какой-то пернатый хищник гонится за сусликом. Рев наших двигателей останавливает птицу. На смерть перепуганный грызун быстро скрывается в норе...

Дорога — широкая, ровная, хорошо укатанная. Ехать по ней одно удовольствие. Я уверен: сегодня мы отмахнем больше 300 км.

И вдруг кончается бензин. Долго ищем заправщика, еще дольше с ним договариваемся: бензин в отдаленных районах на вес золота.

Если бы не эта задержка, мы бы сегодня добрались до Читы. Сейчас, когда я в свете копилки заканчиваю эти записи, мы от нее всего в 40 км. Слева чернеют две небольшие избы. Моисеев ушел туда с Фадеевым договариваться о ночлеге.

23 июля. Мы в вагоне поезда Чита — Хабаровск. Ребята шумят в соседнем купе. Замечают: нет-нет, да кто-нибудь ревниво взглянет на соседнюю дорогу. Взглянет и, словно в утешение себе добавит: «А хорошо мы сделали, что поехали по железной дороге...»

Размытые колеи, озера грязи, уныло-мокрый после двухнедельных дождей пейзаж.

...Качаемся в вагоне, зарывшись в свежие газеты. Мы уже неделю внимательно следим за полетом американских космонавтов на Луну. К радости примешивается горечь: не мы первые...

1 августа. Знакомимся с Иманом. Это небольшой город, прижатый бесчисленными болотами к реке.

Два года назад вода затопила большую часть кварталов, прорвалась в центр. Людей снимали с крыш вертолетами, вездеходами, лодками. Наводнение парализовало жизнь в Имане. О нем до сих пор вспоминают как о кошмаре.

Город то безуспешно, то с успехом пытается отстоять право на существование у этого ржавого моря.

Осматриваемся. Из конца в конец — шеренги бревенчатых домов. Со временем город сменит свои старомодные «доспехи», но пока дерево господствует над камнем. Даже в центре.

Возле главной площади, в парке — святиня иманцев. Здесь похоронены Стрельников, Леонов, Маньковский и Буйневич. Могилы, вырытые по весне, только начинают проседать. Вокруг тесно и от людей, и от венков. Над железными завитушками ограды — портреты бесстрашных пограничников. Такие знакомые, такие родные лица.

Вглядываюсь в фотографию начальника заставы Нижне-Михайловка: копна светлых волос, орлиный взгляд, выражение лица одновременно и ласковое, и решительное. Как это противоестественно — гибель в расцвете сил!

Город живет воспоминаниями о трагических мартовских событиях. Выстрелы, раздавшиеся с той стороны, завершили целую компанию угроз и ненависти. Они потрясли иманцев.

Воцарилось ли спокойствие на границе? Мы понимаем: от этого зависит, удастся ли нам встретиться с земляками — пограничниками на заставе им. Стрельникова.

Секретарь Иманского горкома комсомола Слава Добровольский не может сказать ничего утешительного, и наше настроение резко падает. Особенно нервничают Лена и Фадеев, которым уже пора возвращаться в Кемерово.

В критический момент нам помог офицер погранотряда Иван Васильевич Зубков. Мы откровенно радовались, что нам встретился такой боевой командир. Как-то сразу нашли общий язык. «Кемеровчане? — улыбнулся Иван Васильевич. — Как же, бывал в вашем городе».

Поездка его в Кемерово в 1968 году оказалась исключительно плодотворной. Отобранные им для службы в погранотряде призывники проявили себя при защите Даманского наилучшим образом.

В нашем присутствии он позвонил на заставу. «Это самая добрая наша делегация. Встретьте как следует».

Мы переглянулись. Кто бы мог подумать, что слово «Кузбасс» явится тем паролем, который откроет перед нами дорогу на легендарную заставу?

Иван Васильевич ничего не скрывал, но просил «не лезть куда попало» и дал кучу всевозможных советов, которые нам потом

пригодились. Весело оглядел нас своими зоркими глазами и напустился:

— Поезжайте. Там вас встретят. Не забудьте захватить удочки...

2 августа. Путь к заставе оказался не легким. Перепаханные в глине, разгоряченные, сделали передышку на пасеке. Человек, живущий здесь, должен испытывать душевное равновесие. Здесь царство ничем ненарушимой тишины. Солпки, трава да небо над головой и больше ничего. Так вот оно какое, «дальнее пограничье».

...Мы и не могли предполагать, что на 28-й день мотопобега у нас появятся собственные телохранители. Это земляки-пограничники Петр Бояков и Николай Соломин, неожиданно выросшие перед нами из густой травы. Они обрадованы встречей не меньше, чем мы.

Оказывается, мотоколонна уже давно находится под наблюдением ребят с заставы. Уже позже, познакомившись с приборами, которыми прощупывают местность пограничники, а также со всем укладом их жизни, мы поняли смысл выражения: «граница на прочном замке».

Вот и река Уссури. Правый берег — наш. Щетинистые солпки, изогнувшиеся на горизонте слева — не наши. Здесь, по эту сторону, начинается и кончается родина. Там, за рекой — другой мир, сложный и не совсем понятный.

Далеко от Уссури до Кузбасса. Но в незабываемые мартовские дни мы жили едиными помыслами с часовыми наших границ. Отчетливо помнится митинг студентов и преподавателей в актовом зале института. Нельзя было не заметить: люди почувствовали свою острую причастность к тому, что происходило на далеком заснеженном острове. И вот теперь мы находимся совсем недалеко от этого острова.

О многом думается на границе. О сложных зигзагах истории. О бедствиях народа, которому предложили аскетическое прозябание. О молодых безусых парнях с заставы Нижне-Михайловка, которые показали образец воинской доблести.

...На высоком берегу между двумя обелисками выросли свежие холмики. Здесь спят вечным сном солдаты Родины. Внезапным, как смерть, и жестоким было испытание. Они все без исключения выдержали его.

Молча стоим перед могилами. Большинство погибших — из Кузбасса. Возможно, мы ходили с ними по одним дорогам, встречались в кинотеатрах или на набережной Томи.

Мир вашему праху, герои!

Офицер заставы Михаил Илларионович

Колешня с первых минут встречи выказывает по отношению к нам массу внимания. Через полчаса мы уже знаем все закоулки заставы и с понятным интересом слушаем свободных от нарядов пограничников, которым, видимо, тоже интересно выспрашивать нас: как-никак мы первая делегация, добравшаяся до заставы на мотоциклах.

Несколько лет назад на этих неласковых сопках шумела уссурийская тайга. Застава началась с того, что младший лейтенант Иван Иванович Стрельников забил первый колышек возле красивого куста шиповника и сказал: «Начнем отсюда».

Прежде чем стать командиром заставы, он стал строителем.

В свои 26 лет Стрельников многое умел: и обтесать топором смолистое бревно, и вернуться из тайги с богатой добычей, и договориться с председателем близлежащего колхоза, чтобы он выделил для нужд заставы трактор...

Солдаты рисуют портрет человека горячего, смелого, справедливого. Никто на заставе не умел так, как он, заражать людей своей неутомимостью, никто не был так вездесущ и изобретателен.

Говорят, Стрельников был создан для жизни беспокойной, вихревой, огненной. Он и вчерашних десятиклассников учил быть готовыми к любой неожиданности, мгновенно оценивать обстановку и действовать смело и напористо.

Та зима, последняя в жизни командира, была особенно щедрой на испытания. Теперь мы знаем: солдаты оказались достойными своего командира, командир — достойным своих солдат.

Ум цепкий, жадный до знаний, характер жизнелюбивый и «взрывчатый» — таким вырастает Стрельников из рассказов его друга Михаила Илларионовича Колешни. Словно зная, что ему мало отпущено ходить по земле, командир жил с яростной стремительностью. Да и события, выплеснувшиеся на лед Уссури, поторапливали.

Планы его были обширны. Осталась большая тетрадь, в которую он занес длинную шеренгу неотложных дел. Тут и благоустройство территории, и закладка сада и огорода, и ремонт, и строительство, и многое другое. Дел столько, что его преемникам их хватит на год. А погибший командир рассчитывал справиться с ними за одно лето. Недаром офицеры меж собой называли его Чапанчем, пограничником до мозга костей...

Мы идем «по следам» огромного количества гостей, побывавших в Нижне-Михай-

ловке до нас. Дотошный народ, журналисты, спешили сюда со всех концов страны. До нас на заставе побывало две делегации из Кузбасса. Хорошее впечатление осталось у пограничников от корреспондентах наших областных газет, которые помогли сделать альбом фотоснимков.

Не знаю, этот ли альбом держали мы в руках в мемориальной комнате заставы. Медленно, с горьким чувством листали пропахшие порохом и кровью страницы. Чувства, которые испытывали при этом, трудно выразить словами.

Признаюсь, мы ревниво сравнивали, насколько верно был отражен в нашей печати сам смысл и дух событий на далеком заснеженном острове. Перед нами предстал во всей своей неповторимости мир суровый и в то же время согретый теплом солдатской дружбы. Молодые ребята, ладные и подтянутые, с достоинством, а иной раз с шуткой делают то, что нужно. Надо — и они идут дозорной тропой в ночь, в грозу, и держат границу под неусыпным наблюдением. Надо — и они с полной выкладкой бегут два километра, учатся поражать цель с первого выстрела, в короткий срок постигают секреты службы. Служба эта идет строго заведенным порядком. «Как при Стрельникове?» — «Да, как при Стрельникове». Никакой суеты или нервозности. Каждый знает свое дело и в положенное время сменяет товарищей.

Нет первого командира пограничников, но осталась построенная по его проекту застава — орлиное гнездо на вершине сопки. Не стало талантливого офицера нашей армии, но остались воспитанные им солдаты и офицеры, а значит, будет жить стрельниковский дух, стрельниковский стиль. В их помыслах, в их делах.

Часовые беспокойной границы, они знают, что берегут. За спиной — шумно vzdыхающие заводы, неоглядная ширь полей, пьянящий запах тайги, родной дом и объятые тревогой материнские сердца. Воины в зеленых фуражках берегут весь уклад нашей жизни.

Сумерки заползают в оконца просторной комнаты, где собралась все земляки-пограничники. Тут Иван Гутов из Кемерова, Михаил Ахмедгареев из Анжеро-Судженска, наши «тедохранители» Петр Бояков и Николай Соломин и другие. Юрия Бабанского в тот вечер на заставе не было, но нам удалось с ним встретиться и поговорить накануне. На погонах у Юрия красовались лейтенантские звездочки...

Прежде всего мы поздравили пограничников с присвоением их заставе имени

И. И. Стрельникова и пожалели, что не хватило всего двух дней, чтобы стать свидетелями этого события.

«Командующий парадом» Лева Моисеев сегодня красноречив как никогда. Легко, весело и насмешливо он тянет нить рассказа обо всех наших злоключениях. Слушают его с великим вниманием. Шутку ловят раскрытыми губами...

Из рук в руки переходят открытки с видами г. Кемерово, о котором местный шутник бросает: «Вообще ничего: Кемерово — довольно большой аул». Окончательно настроившись на веселый лад, через минуту он снова вступает в разговор:

— Зря вы, ребята, мотоциклы в лесу прятали...

Мы насторожились. А он как бы между прочим:

— Сейчас медведь на них разбегается...

Остроты местного Васи Теркина имеют успех среди пограничников.

Вспомнив о поручении ректора, Моисеев рассказывает об институте, приглашает по окончании службы к нам.

На минуту воцаряется тишина. Уж больно заманчивое предложение! Молчавший до сих пор Михаил Илларионович лукаво прищуривается:

— Нет, в связи с тем, что министр вводит новую форму одежды, они остаются на сверхурочную...

Все смеются. Я смотрю на эти молодые, веселые лица и думаю о том, как сильна в наших людях жажда жизни, счастья, простых человеческих радостей!

Вручаем пограничникам скульптурный портрет В. И. Ленина, памятный адрес, выпел, открытки, книги.

— А это, — Моисеев выдвигает на середину стола большой бидон, — подарок от простой русской женщины Агафии Семеновны Латынниковой из села Хор. Мать, вырастившая для нашей армии шестерых солдат, посылает вам отведать черной смородины из ее сада...

Это был самый неожиданный подарок. На пограничников словно пахнуло теплом родительского очага...

Нам дарят патроны и самое дорогое — гильзу от снаряда с землей острова Даманского.

А что же библиотечка, собранная студентами? По совету работников политотдела, мы вручили ее пограничникам в Имане. И только на заставе нам стало ясно, что это была ошибка. Библиотечка стрельниковцам была бы кстати, так как имевшие

ся книги многочисленные гости разобрали на сувениры...

3 августа. Не заметили, как из-за Уссури пришла ночь. Пограничники, негромко переговариваясь, смотрят старый, порядком изношенный фильм про шоферов. С реки несет холодом. Михаил Илларионович советует нам отдохнуть, потому что завтра рано вставать.

Несколько человек идут ночевать в маленький домик возле дороги. Здесь жили Стрельниковы: командир, его жена Лида, пухлощекий Игорешка и старшенькая Светлана. Теперь ни в зале, ни в кабинете, ни в двух спальнях не раздастся залистый ребячий смех. Лида навсегда распрощалась с горькими для нее мистами.

Назаревичу, Фадееву, Пронозе и мне дают койки в казарме. Уже вытянувшись на чистых простынях, закрывшись марлевым полотном от комаров, мы все говорим и говорим с пограничниками. Есть такие подробности, которые не прочитаешь ни в одной газете, а можно узнать только на дальнем пограничье, где завязался сложный узел мировой политики.

Утром, полусонные, делаем марш-бросок вместе с пограничниками на одну из скалистых сопок. Затем идем в гости к владивостокским политехникам. Их строительный отряд возводит новое жилое здание.

Во второй половине дня укладываем рюкзаки. Весь отрезок пути до Хорана сопровождать нас будут Михаил Илларионович и несколько пограничников.

Вот и подошло время простаться. В альбоме, что хранится в мемориальной комнате, остается наша записка. Кажется, мы сделали ее на той же странице, что и артист Николай Левша, который в молодости был адъютантом маршала Блюхера.

В последний раз помолчали над шеренгой тех, кто в вечном дозоре застыл над Уссури. До свидания, дальнее пограничье!

Высокая волна бьет в борт катера. Купол неба, пронизанный солнцем, опирается на сопки: слева наши, справа — китайские. Бегут, сталкиваются, сливаются струи Уссури. Неделю назад река была темной после дождя, по ней плыли коряги, палки, бревна. Теперь это все исчезло, и гладь реки стала светлой.

Не так ли в отношениях между соседями: со временем все наносное, лежащее на поверхности, исчезнет, растворится в небытии. Освежающий дождь правды смоем всю накипь, придет на границу тишина, и два великих народа вновь протянут друг другу руку дружбы!



Михаил Паньков

МАСТЕР СИБИРСКОГО ПЕЙЗАЖА

В минувшем году исполнилось 50 лет со дня трагической гибели художника-пейзажиста Владимира Дмитриевича Вучичевича-Сибирского. Его роль в культурной жизни предреволюционной Сибири значительна. Весь свой талант Вучичевич отдал воспеванию сурового края. Творчество его не теряет своего значения и по настоящее время.

Незадолго до Октября художник с семьей из Томска перебрался в Крапивинскую волость, чтобы в таежной тиши мирно жить и работать.

В одну из ночей 1919 года в тихое жилище художника ворвалась банда мародеров. Члены семьи были убиты. Сам Вучичевич, смертельно раненый, успел опознать убийцу. Это был кулацкий сын Сажин. Вскоре его поймали партизаны и казнили.

Вучичевичи происходят из дворян. По национальности они — сербы. Прадед художника П. С. Вучичевич, умерший на родине в 1815 г., являлся воеводой провинции Подгорицы в Черногории.

Дед Лука Вучичевич прибыл из Черногории в Россию в 1819 г. к своему родному дяде И. И. Вукотичу, богатому помещику в Богодуховском уезде Харьковской губернии.

Приняв присягу на верность России, Лука Петрович поступил на военную службу в Екатеринбургский Кирасирский полк. В 1835 г. он вышел в отставку в чине штаб-ротмистра.

Отец В. Д. Вучичевича — Дмитрий Лукич родился в 1848 году и крещен в церкви села Пархомовки. Помимо Владимира, у него был еще один младший сын Евгений. Он впоследствии стал харьковским салонным художником.

Владимир же по достижении 14 лет был определен отцом в Петербургский морской корпус. Некоторые исследователи утверж-



В. Д. Вучичевич-Сибирский

дают, что он «увольился из корпуса и, выдержав экзамен в Академию художеств, с энтузиазмом отдался любимому искусству». Однако сведений о том, что В. Д. Вучичевич состоял в числе учащихся Академии художеств за 1890—1899 гг., в архивных материалах не обнаружено.

Думается, официального звания художника он не имел. Даже в своих прошениях в Академию Вучичевич именует себя как дворянин, не указывая звания.

Но связи у него с Академией бесспорно были. Уезжая из Петербурга, он оставил свои вещи у профессора П. О. Ковалевского.

Возможно, что Владимир в 1899 г. жил у Ковалевского — в списке экспонентов ака-

девической выставки этого года он указал адрес: Академия художеств, квартира профессора Ковалевского.

В одном из писем, датированном 3 декабря 1901 года, художник Вучичевич пишет Илье Ефимовичу Репину:

«Пользуясь случаем, чтобы, насколько это возможно, выразить Вам то незабвенное, что вселилось во мне с первых дней моего знакомства с Вами, которым я горжусь. Вы первый поддержали во мне энергию к работе, так часто подверженной разочарованиям. Вашу поддержку я ценю выше всего. Не комплименты я хочу делать, нет — все это искренно выливается из моей души, помнящей добрых людей.

Я обещал со своей выставкой большую часть России и доехал до Томска, где думаю отдохнуть. Дальше ехать положительно не стоит. Работаю я усердно, но боюсь сделаться рутинером, в Томске нет художников, с кем бы можно было посоветоваться...

Искренно желаю Вам всего, всего хорошего и прошу Вас верить всегдашнему моему почтению и расположению к Вам»¹.

¹ Материалы из архива АХ СССР любезно представлены В. П. Александровым.

Это письмо чрезвычайно интересно. Во-первых, оно свидетельствует о продолжительном знакомстве Вучичевича с великим русским художником. И говорит, что Вучичевич был вхож в круг известных художников-передвижников и пользовался известностью. А, во-вторых, мы узнаем, что он со своей выставкой тоже ездил по России, знакомя людей с изобразительным искусством, и добрался до Томска.

Здесь уместно, на мой взгляд, хотя бы коротко сказать о художниках Сибири, работавших в 90-х годах прошлого века.

В Томске были известны художники В. В. Смитрович, А. С. Капустин, Н. М. Шведов, А. В. Евреинов, в Иркутске — М. А. Рудченко, А. И. Верхотуров, И. Г. Козлов и др. В Иркутске же была единственная в Сибири картинная галерея — собственность городского головы В. П. Сукачева.

В Омске жили и работали Г. Г. Платонов, Н. В. Волков, один из крупнейших сибирских художников Г. И. Чарос-Гуркин. Красноярск (родина В. Сурикова) также имел своих художников — Д. И. Каратанова, М. И. Педашко-Третьякову и др.

Несмотря на назревавшие революционные события, общественная и выставочная дея-

В. Д. Вучичевич. «ЕЛАНЬ»



тельность профессионалов и любителей не замирала.

В 1903 г. в Томске была организована экспозиция местного отдела 1-й передвижной выставки художников-сибиряков. Здесь экспонировались четыре пейзажа В. Д. Вучичевича: «Вечерняя тишина», «В лесу», «Сквозь тучи», «Зима проходит».

В Томске же в 1909 году образовалось «общество любителей художников». Годом позже и в Иркутске возникло свое «общество иркутских художников». Все эти общества всевозможными средствами пропагандировали искусство.

Хоть и сетовал Вучичевич в письме к Репину на отсутствие художников, но это, очевидно, на первых порах. Позднее же он и с Гуркиным сошелся. В соавторстве они писали одно полотно о горном Алтае.

На сибирской земле В. Д. Вучичевич поработал много и плодотворно. Это дало ему возможность в 1914 году составить солидную подборку сибирских пейзажей и показать ее в тогдашней столице — Санкт-Петербурге.

Перед дальней дорогой художник сфотографировался на фоне своих главных картин «Разрушенная берлога» и «Восход солнца среди пиков и кражей луны». Затем, поскольку эти картины больших размеров, пришлось снять их с подрамников и свернуть. Все упаковано в ящики. Сдано багажом на Сибирскую ж. д., о чем получена справка, что багажа набралось один ящик картин без рам и один в рамах. Вес 21 пуд. На ящиках адрес из Томска в СПб, отправитель и получатель — Владимир Дмитриевич Вучичевич-Сибирский (приставка фамилии, очевидно, появилась по двум причинам: во-первых, стал уже сибиряком; во-вторых, чтобы было различие с братом Евгением).

В Петербурге, видимо, не ждали художника.

Обратимся к документам Архива Академии Художеств СССР.

«В канцелярию Императорской Академии Художеств от потомственного дворянина

Вл. Дм. Вучичевича

Заявление

Приехав и привезши из далекой Сибири в г. С.-Петербург для устройства выставки картин моей кисти, изображающей виды Сибири, Байкала и большой картины «Восход солнца среди кражей и пиков луны», тоже моей кисти, я нигде не мог найти помещения для выставки.

На работу этой выставки мною потрачено более 12 лет, а доставка моих картин из Сибири настолько дорога, что если я не буду иметь возможности открыть мою выставку, — материальное мое положение не будет для меня благоприятным. Вследствие вышесказанного я обращаюсь с покорнейшей просьбой, не найдет ли возможным Канцелярия Академии прийти мне на помощь, предоставив бесплатно под мою выставку в доме по Инженерной улице помещение, выходящее окнами на эту улицу вниз. При этом имею честь заявить, что все расходы по приведению этого помещения в должный вид для открытия выставки, а также и хлопоты для ее открытия я беру на себя.

1914 года, 24 января

Владимир Вучичевич».

Через неделю художник получил из Академии ответ:

«Потомственному дворянину
В. Д. Вучичевичу

Вследствие поданного прошения о предоставлении Вам бесплатного помещения в доме быв. Государственной Типографии, по Инженерной ул. в первом этаже под устройство ваших произведений, Канцелярия Императорской Академии Художеств имеет честь уведомить, что Хозяйственный Комитет Императорской Академии Художеств признал возможным удовлетворить просьбу при условии:

1. Чтобы все расходы по приведению этого помещения в надлежащий вид для открытия выставки были приняты Вами на Ваш счет, а также и все хлопоты по получению разрешений на устройство выставки.

2. Все проходы из первого этажа на верх должны быть заколочены.

3. Часы открытия выставки совпадали с таковыми же, как и на других выставках.

4. Срок пользования помещения с 1 февраля по 1 марта.

5. Императорская Академия Художеств не принимает на себя никакой ответственности за сохранность картин на выставке».

На выставке по каталогу значилось 101 произведение.

Под номером первым была выставлена картина — «Восход солнца среди пиков и кражей луны». С содержанием ее знакомит сам автор:

«На луне, как и на земле, солнце всходит и заходит. Луна почти не имеет атмосферы, а потому свет и тени ее бывают резки и черны, образуют так называемый «пепельный цвет». Мотив этой картины взят из

лунной местности «Аппенины». Лунные массивы постепенно разрушаются временем. Картина писана в продолжение 5 лет по непосредственным наблюдениям из моей Сибирской обсерватории».

Следует сказать, что тема космической фантазии в то время не была популярной. Немного найдется в русской живописи и графике картин о других планетах. И, пожалуй, сибирский художник Вучичевич начал разрабатывать в пейзаже это первый и не побоялся показать свою картину широкой столичной публике.

Художественный обозреватель журнала «Нива» в отчете о выставке отмечал своеобразный географический характер работ Вучичевича. Разнообразие и богатство представленных на ней работ привлекали к ней общее внимание.

«Мы слишком мало знаем нашу Великую страну, и многое в произведениях сибирского художника явилось для нас свежим, новым и интересным».

* * *

В отделе природы Кемеровского областного музея имеется несколько пейзажей Вучичевича-Сибирского. Все они исполнены

маслом на холсте. Это — «Первый снег», «Зима в лесу», «Тайга» и другие.

Все эти картины и этюды — не простое фиксирование того или иного состояния природы. Это наблюдения и запечатленные в красках раздумья живописца о природе.

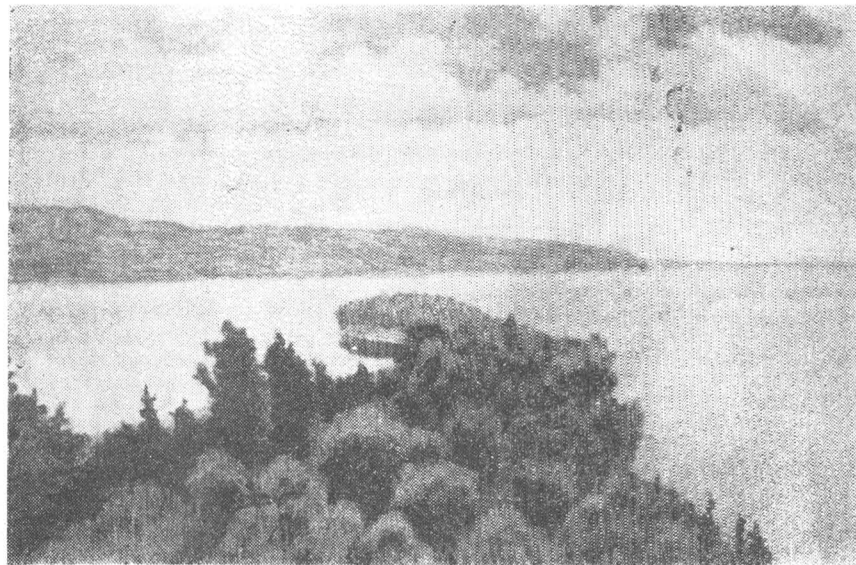
Он всей душой полюбил русскую природу, привязался к ней, да так, что не мог писать ее равнодушно. Да и природа края сибирского такова, что способна приковать к себе отзывчивое на красоту сердце художника.

Пейзажами о сибирской дальней стороне художник Владимир Вучичевич оставил заметный след о себе в русской художественной культуре предоктябрьского периода.

В 1967 году Кемеровскому краеведческому музею удалось пополнить свою скромную коллекцию еще тремя пейзажами и одним этюдом работы Вучичевича.

Житель Кемерова Г. Д. Мехоношин по телефону просил прийти и посмотреть картины, оставшиеся ему от родителей. Его отец — Мехоношин Данил Петрович — до 1924 года был учителем в деревне Борисово, что недалеко от Крапивина. Там в свое время близости проживал и Вучичевич. Каким образом картины попали в семью,

В. Д. Вучичевич. «БАЙКАЛ. ШАМАН-СКИЙ ХОБОТ».



Геннадий Данилович не знал. Но при переездах они всегда их возили с собой. Холсты снимались с подрамников, свертывались. Красочный слой очень потрескался и пожух.

На одной — весенний березовый лесок. Остаток снежного покрова прорезает уходящая вглубь тропинка. Справа тянется тоже уходящая вглубь изгородь из жердей. Очевидно, по другую сторону ее идут огороды. Такой пейзаж вполне мог быть на заимке художника под Крапивино.

На двух других — изображен лес зимой. Глубокую снежную поляну по диагонали слева направо пересекает лыжня. Похоже, что недавно здесь прошел охотник на широких лыжах. Хорошо переданы и зимний снег и березняк.

Эти работы художника, думается, написаны на нашей кузнецкой земле в последние годы его жизни на заимке, около поселка Калашного. Здесь был построен просторный дом на берегу реки Томн.

В семье художника все были приветливые и радушные люди. Поэтому соседи не чужались их. Мужики с Вучичевичем в свободное время охотно хаживали за дичью и рыбой, делились продуктами своего хозяйства.

Вечерами на заимке художника грамотные находили книги и журналы для чтения. Можно было посмотреть и на звезды и на Луну в имевшиеся здесь диковинные трубы.

Вскоре после смерти художника в Щегловске появилось такое объявление:

«С 25 июня по 1 июля 1920 года в помещении старой волости открывается третья выставка известного художника Вучичевича».

Это театральная секция уездного отдела народного образования приглашала любителей искусства посмотреть картины своего земляка. Молодая республика, руководствуясь указаниями Ленина, стала приближать искусство к народу.



Борис Головин

На земле фараонов

Африка! Из окна автобуса, мчавшего нас из аэропорта в Каир, крутом видна была пепельно-серая, местами даже коричневая, выжженная солнцем земля, изрезанная причудливой формы сеткой трещин. Только на самой окраине города появилась зелень.

Что можно сказать о Каире? Почти каждый большой город имеет свою как бы написанную эмблему, визитную карточку, что ли, известную всему миру. Париж — это Эйфелева башня, Лондон — Тауэр и Вестминстерское аббатство, Нью-Йорк — печальной судьбы статуя Свободы, Москва — Кра-

сная площадь, Варшава — Маршалковская улица. Ну, а Каир?

Пока, пожалуй, такой «визитной карточкой» он еще не имеет.

Столица ОАР — один из крупнейших городов мира с населением более 4,5 миллиона человек. Город, как и многие другие восточные города, четко делится на две части: старую и новую. Старый Каир застроен старинными невысокими домами. Узкие кривые улочки запружены шумной толпой, мастерскими ремесленников и лавочниками мелких торговцев. Много мечетей. Кажет-

ся, что время не тронуло здесь ничего. Прямо на улице можно увидеть разостланный на тротуаре ковер, над которым под палящими лучами солнца склонился пожилой араб, нитка за ниткой реставрируя вышаркавшиеся места, тут же бойкого мальчонку, оживляющего поблекшие краски рисунка этого ковра. Рядом, вжавшись в тень забора, ремонтирует кастрюлю жестянщик, окруженный грудой разной посуды и своим нехитрым инструментом.

А вот новый Каир, занимающий северную и западную части города, предстал перед нами современными многоэтажными домами, шикарными отелями, ресторанами, магазинами, административными зданиями, между кварталами которых удачно вписаны парки и скверы, сооружены уличные переходы и путепроводы. В архитектуре многих зданий, выполненных из стекла и бетона, часто встречаются солнцезащитные ребра, козырьки, решетки, жалюзи — «дань» африканскому климату.

Украшение города — его оживленные площади и среди них особенно Ат-Тахрир (площадь Свободы) с радиально расходящимися от нее улицами; площадь Рамзеса II перед железнодорожным вокзалом увенчана огромной статуей этого фараона, выполненной более 3-х тысяч лет назад и привезенной сюда в 1958 г. из древней столицы Египта Мемфиса.

Среди всего этого великолепия, деля город на две неравные части, течет величественный Нил с его островами Гезира и Рода и многочисленными мостами, связывающими оба берега и острова.

Интенсивно начал строиться Каир (как впрочем и другие города ОАР) после свержения монархического строя. На окраине города построен целый жилой район Зеном; сооружается город-спутник Насер-Сити, где будут олимпийский и университетские городки, здания международной ярмарки.

Справедливости ради следует отметить, что строят египтяне пока еще крайне примитивно, без простейшей даже механизации. Мне пришлось наблюдать, как достраивался 15-этажный дом, стоящий напротив гостиницы «Нил», где мы жили. В нем велись уже отделочные работы. Леса сделаны из деревянных брусков, связанных в сочленениях веревками. Все материалы (раствор, цемент, песок) рабочие поднимали на верхние этажи в корзинках по петляющим среди лесов сходам. Но качество строительства, особенно отделочных работ, очень высокое. Мы в этом на многих примерах убедились.

Местные жители утверждали, что впечатление о Каире будет не полным, если не

побывать на Восточном базаре Хан-Эль-Халили. Это не площадь и даже не отдельные торговые корпуса. Это несколько обычных параллельно идущих улиц с пересекающими их узкими переулочками, сплошь состоящими из прижавшихся друг к другу крохотных магазинчиков и лавочек. Некоторые из них так малы, что трем человекам втиснуться даже негде. Поэтому, как правило, товары выставлены прямо на тротуар и даже на мостовую. Вся жизнь базара проходит на улице. Здесь не только торгуют, но и готовят пищу, едят, спят, обсуждают мировые проблемы.

Ритм базара не поддается описанию. Лавина непрерывно движущихся навстречу друг другу людей, многоязыкий гвалт. Порой не слышно даже, что говорит твой спутник. В узких прогалах между выложенными на мостовую товарами, непрерывно гудя, пробраются легковые автомашины. Толкая прохожих, семенит ишак с тележкой или тюками, переброшенными через круп. По цирковому лавирует велосипедист с тяжелой поклажей на голове. И самое интересное: покупают-то очень мало. Месячный доход многих мелких торговцев составляет зачастую 5—6 египетских фунтов. Минимальный же, я бы сказал даже скудный, прожиточный минимум средней семьи составляет 15—20 фунтов. Тем не менее занятие свое они не оставляют, ибо большинство из них пойти куда-либо работать не могут, так как не имеют никакой специальности, да многие и не хотят — сильные еще традиции прошлого. Торговцев и в Каире и в других городах, где мы были, очень много, лавочки их завалены товарами. Доля же государственного товарооборота в стране пока еще очень не велика. Так, в торговле промышленными и продовольственными товарами она составляет всего около 7 процентов.

Меня часто спрашивают, что больше всего понравилось мне в Каире. Трудно ответить. Это, может быть, и живописная площадь Ат-Тахрир, и Восточный базар, и неповторимая набережная Нила, а может быть Национальный музей, монументальная гордая в своем молчании статуя Рамзеса II у вокзала, наконец, телевизионная вышка с вращающимся рестораном наверху. Но вот переполненный трамвай с висящими на подножках, буферах и других выступах пассажирами, в том числе полицейскими, мне надолго запомнится. Кстати замечу, что египетские правила уличного движения трактуются очень привольно: вы можете всюду увидеть прыгающих или запрыгивающих на ходу в трамвай, автобус

или троллейбус весьма почтенных мужей, — двери никогда не закрываются, а у многих их вообще нет. Зачастую встречаешь легковую автомашину (я не говорю уже об автобусах) без фары, с разбитыми стеклами, погнутыми буферами. Я твердо уверен, что наш кемеровский автоинспектор, попади он в Каир, остановил бы половину столичного автотранспорта.

Тысячелетняя история Каира — это военные сражения и междоусобные войны, почти полное опустошение в результате чумы и кровопролитные бои в период «белых рабов» (мамлюков), затем вторжение в 1798 г. наполеоновской армии и, наконец, английская оккупация. Июльская революция 1952 г. сделала Каир столицей суверенной республики, народ которой обрел долгожданную свободу.

Египетская революция оказала благотворное воздействие на положение дел во всем арабском мире, вызвав, как писали некоторые западные газеты, «цепную реакцию». Империалисты взяли курс на ослабление или свержение прогрессивных режимов в Африке, развязав сначала одну (1956 г.), а затем вторую (1967 г.) израильские агрессии против, прежде всего, лидера арабских стран — ОАР. Но египетский народ не стал на колени, он дал решительный отпор агрессору, он борется. Народы многих стран поддерживали молодую республику. Арабские страны сплотили свои силы. Каир стал

центром, вокруг которого концентрируются сейчас прогрессивные силы всего Арабского Востока.

Во время пребывания в ОАР мы видели военный Каир. Мы видели временные кирпичные стенки у дверных проемов и подъездов многих зданий на случай воздушных налетов врага, видели запасы мешков с песком, заклеенные бумажными полосками стекла окон Национального музея, военных патрулей на важнейших объектах, зенитные батареи на окраинах Каира.

Но жизнь в Каире, так же как и в других городах страны, удаленных от Суэцкого канала, идет своим чередом. Народ трудится, учится, отдыхает. Открыты магазины, рестораны, поток машин свидетельствует о деловом ритме города, ночью главные магистрали Каира залиты огнями рекламы.

По-прежнему много туристов из разных уголков земного шара посещают эту интересную страну, тысячами хранящую экзотику глубокой старины, страну пирамид, сфинксов, храмов и таинственных гробниц. Но израильская агрессия нанесла огромный ущерб туризму — туристов, особенно из западных стран, стало намного меньше. А это сказалось на национальной экономике. Доходы от туризма занимают в бюджете страны третье место (после хлопка и Суэцкого канала). Но Суэцкий канал не дает сейчас ничего, доходы от туризма со-

Каир. Книжный «кюск». Фото автора



кратились. В последнем мы сами убедились. Двенадцатитажная гостиница «Нил» была пуста — кроме нашей группы, в ней проживало всего несколько человек. Так было и в Луксоре в отеле «Савой», оригинально выполненном в виде отдельных коттеджей, так было и в Александрии в фешенебельном отеле «Палестина», расположенном на берегу Средиземного моря в окружении кокосовых пальм.

Для всех туристов, приезжающих в ОАР, главным, пожалуй, является знакомство с древними пирамидами и сфинксами — одним из семи чудес света. Еще со школьных лет мы слышали о них предостаточно. И вот настал час, когда мы могли ступить на камни, по которым тысячелетия назад ступала нога фараонов.

Самый интересный ансамбль, состоящий из трех пирамид и сфинкса, находится в Гизе под Каиром. Разросшийся город своей юго-западной окраиной подошел вплотную к пирамидам. От центра города это всего 40 минут езды на автомашине. Интересно обставлен подъезд к пирамидам. Не доезжая примерно с полкилометра до первой пирамиды, туристы попадают в небольшой дворик, где к их услугам — верблюды, ослики, арабские рысаки под седлом и в двухколке. Применяя элементы акробатики и силовые приемы, все с шумом и смехом садятся кто на верблюда, кто на ишака или рысака. Несмелым и менее ловким остаются двуколки.

Подъехав к пирамиде и расставшись с организованной экзотикой (сойдя с верблюда или ишака), попадаешь в плен частных предпринимателей. Не успеешь опомниться, как тебя поднимут на двугорбого, чтобы прокатить вдоль пирамид. Тут уже надо платить. Бизнес есть бизнес. Дежурные полицейские гонят таких самодельных предпринимателей, но в большинстве из этого ничего не получается.

Учитывая большой интерес иностранных туристов к древней истории Египта и его сохранившимся памятникам, Министерство туризма ОАР использовало ансамбль пирамид и сфинкса в Гизе для организации своеобразного спектакля, какого, с уверенностью можно сказать, не увидишь больше нигде в мире. Он получил название «Свет и звук». Спектакль ставится на открытом воздухе. Для зрителей перед пирамидами оборудован амфитеатр на 800—900 полумягких кресел. С наступлением темноты свет выключается и все три пирамиды и сфинкс поочередно или одновременно освещаются мягким светом различной окраски: фиолетовой, голубой, желтой, белой. На фоне тем-

ного неба это выглядит очень эффектно. Световая гамма сопровождается приглушенной музыкой, льющейся из репродукторов, расположенных полукругом впереди амфитеатра. То из одного, то из другого, а то и из нескольких репродукторов сразу идет повествование о древней истории Египта, о жизни и военных походах фараонов, их победах и поражениях. Представление длится около часа. Рассказ ведется в разные дни недели на арабском, английском и французском языках. Администратор сказал нам, что готовится текст и на русском языке.

После осмотра пирамид в Гизе последовали поездки в древнюю столицу Египта Мемфис, затем в Саккару. С холма раскопок в Саккаре открывается широкая панорама Ливийской пустыни. Вдалеке видны силуэты нескольких больших и малых пирамид. Наш гид мистер Керр, даже в самую невыносимую жару не расстававшийся с пиджаком, галстуком и турецкой феской, сказал нам, что в ОАР насчитывается 85 пирамид.

Кстати, о пиджаках и галстуках. Все должностные лица более или менее высокого ранга в учреждениях, отелях, ресторанах и тем более на улице ходят в любую, самую жаркую погоду только в пиджаках, причем далеко не из легкого материала, и, конечно, при галстуках. Таково правило этикета. И только обслуживающий персонал, простой народ всюду и везде разгуливают в национальных, до полу, свободных рубашках-калабиях. В большинстве они белые, редко — цветные, светлых тонов. Забавно смотреть как у быстро идущего араба полы такой рубашки развеваются как паруса. Зато прохлада обеспечена!

Луксор — город древних храмов и таинственных гробниц. Находится в 670 км от Каира. «Вот задохнемся в вагоне», — думали мы. Но нас ждала приятная неожиданность: вагоны первого и второго классов оборудованы системой кондиционированного воздуха, так что всю дорогу мы чувствовали освежающую прохладу. Ночью даже пледом пришлось укрываться. Замечу, что ночью температура воздуха в этих местах вообще резко снижается: днем изнурительная жара 38—42°, ночью — 3—4°.

В Луксоре всего 30 тысяч жителей, но известен он далеко за пределами ОАР. Известность эту ему создали знаменитые храмы и гробницы, древние как мир. Даже название Луксор (по-арабски Аль-Оксор) означает дворцы.

Не успели мы подъехать к гостинице, как нас буквально атаковали местные продавцы самодельных сувениров, подчас высококу-

дожественной работы. Тут и керамические плитки с древними египетскими фресками, и оригинальные бусы, и открывающиеся саркофаги с мумией фараона. Очень много статуэток фараонов и, конечно, головка красавицы Нефертити — жены фараона Эхнатона. Египетские ремесленники особенно славятся искусной работой по изготовлению различных металлических медальонов и кулонов с барельефом все той же Нефертити, всевозможных браслетов, колец, цепочек и прочих изящных безделушек. И это не только в Луксоре. Так было во всех городах, которые мы посетили, правда, в Каире продавцы были не так агрессивны. Запрашивая сначала приличную цену, в конечном счете они отдавали свои изделия буквально за бесценок. Подчас просто жалко было огромного кропотливого труда их создателей. Но, к счастью продавцов, у туристов изделия ремесленников пользуются большим спросом.

В Луксоре два храма: Карнакский и Луксорский. В древности правобережную часть Нила называли «Городом живых» в отличие от левобережной, известной под названием «Города мертвых».

Карнакский храм это целый город хра-

мов, некогда представлявший единый ансамбль с Луксорским дворцом. Карнакский комплекс состоит из нескольких многоствольных залов и святилищ. Строился и расширялся он почти 20 веков, на протяжении которых каждый фараон пристраивал себе зал, один богаче другого. Стены и колонны покрывались рельефными изображениями богов, сценами из жизни царей, клинописью и эмблемами. Особенно интересен средний зал, названный колонным: 134 его колонны так велики, что на верхней площадке каждой из них может поместиться до 100 человек.

Унылая картина предстала перед нами на левом берегу Нила в «Городе мертвых». Открытая холмистая пустыня. Ни кустика. Температура в тени 40—44°.

Основную часть «Города мертвых» составляет «Долина царей», где сосредоточены гробницы, усыпальницы и заупокойные храмы многих фараонов. Раскопки их начались еще в начале прошлого века и продолжают в наши дни. Всего найдено около 40 гробниц. Большинство мумий изъяты из гробниц и перевезены в Каирский музей и музеи других городов мира. Несколько мумий находится в Ленинградском Эрмитаже

Каир. На одной из центральных улиц. Фото автора



и музей изобразительных искусств им. Пушкина в Москве.

Наибольший интерес вызывает таинственная гробница фараона Тутанхамона, умершего в 18-летнем возрасте. Гранитный саркофаг помещен в глубоком подземелье, в саркофаге лежит статуя фараона из чистого золота весом 110 кг. Гробница была открыта в 1922 г. английским ученым Картером. Таинственность ее состоит в том, что из склепа был извлечен гранитный жук-скарабей, на котором было начертано предупреждение: кто осмелится посягнуть на заупокойную жизнь фараона, тот жестоко поплатится. По странному стечению обстоятельств проклятие это сбылось: все члены экспедиции Картера погибли. Интересно, что вместе с жуком-скарабеем Картер извлек из подземелья несколько мешков пшеницы, пролежавшей более 3000 лет. Посеянная в Канаде, она на 2-й год дала небывалый урожай.

Запомнился храм-гробница одного из могущественных фараонов Египта Рамзеса II, царствовавшего 66 лет и скончавшегося в возрасте 110 лет. Еще при жизни он построил себе этот храм, считающийся самым лучшим произведением египетской архитектуры. Стены Рамзесиина расписаны сценами борьбы фараона с хеттами. Часть их выполнена в красках. Удивительно, что краски многих росписей хорошо сохранились до наших дней.

После знакомства с древней историей нам предстояло ознакомиться с достопримечательностью сегодняшнего дня страны, но уже не в Луксоре, а в Асуане.

Десять лет назад небольшой городок Асуан с населением 35 тысяч человек был известен как фешенебельный зимний курорт, славившийся здоровым сухим климатом. В настоящее время Асуан превратился в город с населением более 100 тысяч человек. Его быстрый рост связан со строительством высотной плотины и химического комбината.

Город раскинулся на правом берегу Нила. Река в этих местах исключительно живописна: скалистые берега, множество проток и скалистых островов, покрытых пышной тропической растительностью. Вспоминается поездка на один из них — Слоновий. Название свое он получил за удивительное сходство его берегов с фигурами слонов. Небольшим парусным судном-фелюгой управлял 16—17-летний подросток, очень смысленный паренек по имени Ахмет. Следует отметить, что почти на всех фелюгах эти обязанности исполняют подростки. Многие из них знают по несколько русских

слов. Наш Ахмет охотно вступал в разговор, при случае неоднократно подчеркивал, что арабы очень уважают русских.

После поездки на острова мы отправились на строительство высотной плотины. От города это 25 км. Проезжая по окраине города, мы видели огромные корпуса химического комбината, жилой поселок строителей гидроузла.

Незабываемая панорама строительства. Сооружение высотной плотины, как известно, велось по проекту Советского Союза. Первый ковш грунта был вынут в январе 1960 г., а 2 ноября 1967 г. Каир получил электроэнергию Асуана. Сейчас из 12 агрегатов работают уже 9.

Но Асуан — это не только электроэнергия. Асуан — это 600 тысяч гектаров дополнительно полученных сельскохозяйственных угодий, что составляет примерно одну треть всех обрабатываемых земель дореволюционного Египта. Асуан — это хлеб, рис, хлопок. Пирамидой нашего времени называют египтяне Асуанскую высотную плотину.

Впечатляющую картину наблюдали мы на центральной площадке строительства недалеко от нижнего бьефа. В полдень ударил гонг, и масса рабочих устремилась под специальный огромный навес. Встав на колени, лицом к востоку, египтяне, отведшая низкие поклоны, стали молиться. Длилось это минут 15—20. Странно, что среди молящихся было немало молодежи.

Молящихся нам приходилось видеть неоднократно. И в Каире, и в Луксоре. Но то были одиночки. Бывало, например, поднимаясь в гостинице в свой номер, и вдруг встречаешь на полутемной лестничной площадке стоящих на коленях одного-двух кого-либо из прислуги гостиницы. Площадка занята, пройти нельзя — ждешь окончания молитвы. Не будешь же через них перешагивать!

После пребывания на юге страны мы отправились на север — на побережье Средиземного моря. Предстоял тысячекilометровый путь. Фирма, осуществлявшая нашу туристическую поездку, интересно составила маршрут. До Каира мы должны были проехать поездом, а дальше до Александрии — автобусом через Ливийскую пустыню.

Контраст очень колоритен: цветущая долина Нила и безжизненная пустыня!

И вот мы снова в пути. Поезд идет все время вдоль Нила. За окном, как на экране кинематографа, одна картина сменяется другой. И справа и слева поля пшеницы, хлопка, риса, еще каких-то неведомых нам культур. А среди них временами мелькают островки пальм, изредка — глинистые

постройки. А вдоль всего рельсового пути идет оросительный канал, ни на минуту не прерываясь, лишь местами от него вглубь отходят ответвления. Насосы, ручные и электрические, гонят и гонят воду в эти ответвления. Нильская вода и руки феллаха не дают земле умереть.

Нас приглашают к обеду. Все отправились в вагон-ресторан. Примечательно меню арабской кухни. Очень скуден, например, завтрак: кусочек омлета или брызны или два маленьких яйца. Подчеркиваю, или — или. К этому чашка кофе или чая, булочка с маслом или джемом. И все. Но обед обилен: креветки в соусе, салат из помидоров, свежих и вареных огурцов с какой-то травой, большая тарелка лапши или запеченного лапшевника, большой кусок жареного мяса без гарнира (подают, когда лапшу уже съешь), кофе или чай, желе, пирожное или фрукты. На ужин иногда подавалась похлебка из фасоли, бобов или сои (мы так и не узнали из чего), опять салат из овощей, жареное мясо (один раз была рыба), кофе и фрукты (финики, яблоки, апельсины, бананы). «Ну, а где же суп?» — спросите вы. Увы, его в арабской кухне нет.

В Каир мы прибыли в полдень, в самый солнцепек и прямо на вокзале пересели в автобус, помчавший нас в Александрию.

Лента асфальтовой дороги, поминутно извиваясь между небольшими холмами, насколько видит глаз, далеко уходит вперед. Кругом песок, песок... Ни одного дерева или кустика. Временами показывались ажурные мачты линии электропередачи, по которой бежал тот Асуана. Мачты эти преобразили лицо пустыни.

Иногда приходилось сворачивать с асфальта и ехать по целине — проводился ремонт дороги, собственно, не ремонт даже, а реконструкция: в низинах, где асфальт заносило песком, профиль дороги поднимался выше.

Через сотню километров все хорошо почувствовали, что значит путешествовать по пустыне. Даже открытые окна автобуса не спасали — раскаленный воздух хлестал лицо. Легкие брюки и рубашки без рукавов становились просто обременительными.

— Вам еще повезло, — сказал шофер автобуса Саид, видя наши мучения. — Вы едете в октябре. А вот в апреле-мае тут проехать просто невозможно. В эти месяцы здесь в течение 50 дней дуют юго-восточные горячие и сухие ветры Аравийской пустыни — «хамсин», что по-арабски значит «пятнадцатидневный». Ветер этот приносит тяжелые песчаные тучи, воздух становится

сухим, солнечный свет тускнеет, барометр падает. А сейчас — что?!

Вскоре показались добротные заборы, длинные кирпичные строения, зеленые поля. На огромном щите, установленном у самой дороги было по-русски и по-арабски написано: «Сельскохозяйственная ферма. 10 000 федданов. Дар арабскому народу от СССР». Приятно было видеть здесь, в пустыне, частицу труда советского народа.

Еще 60 километров пути, и на горизонте появился огромный город. Это была Александрия, город основанный Александром Македонским в 332 году до нашей эры, второй по величине после Каира город Африки.

С моря подул бриз, дышать стало легче. Подступы к городу сплошь были покрыты водой, что-то вроде болот или огромных заводей, но, по всему видно, неглубоких. Дорога так и шла километров 10—15 среди воды. Кое-где виднелись прямо на воде кусты, между которыми изредка двигались лодки.

Александрия... Город, в котором из семи чудес света находятся два. Он растянулся вдоль побережья Средиземного моря на 35 км и на всем этом протяжении фешенебельные пляжи, пляжи. Их более 20. Народ одет в большинстве в европейские костюмы, много женщин, причем в современных платьях. И самое главное: светлый цвет кожи арабов, много светлее чем в Асуане или Луксоре, где, очевидно, сказалось влияние южных нубийских племен.

Группа наша остановилась в лучшем отеле города «Палестина», построенном в 1964 г. для участников второй конференции арабских государств. Отель расположен в бывшем королевском парке Монтаза на восточной окраине Александрии у самой кромки моря.

В Александрии есть что посмотреть — ведь городу 2300 лет. Это и таинственные катакомбы Ком-Эль-Шукафа и Помпеева колонна, Греко-римский музей и остатки Анфутского некрополя. Большой интерес представляет аквариум, пользующийся всемирной известностью. В нем собраны почти все виды рыб Средиземного и Красного морей и Нила. Ну и, конечно, нельзя не побывать в обоих дворцах — летних резиденциях бывшего короля Фарука, превращенных ныне в музеи. В одном из них (Рез-Эль-Тин) Фарук подписал 26 июля 1952 г. отречение от престола.

Побывали мы на спичечной фабрике и в женской технической школе. Фабрика довольно большая, на вид хорошо механизированная, но и рабочих в цехах много. Это объясняется, очевидно, тем, что техно-

логические циклы оснащены устаревшими несовершенными машинами (в основном, английского производства), требующими значительного ручного труда. Удивил низкий заработок рабочего: 25 пиастров в день. Размер его станет ясным, если сказать, что проезд во втором классе автобуса стоит

ОАР). Срок обучения в школе 2 года. Учащиеся никаких стипендий не получают, но и за обучение не платят. Проживают ученики дома. Интересно, что окончивший школу с 75 процентами отличных отметок может поступить в высшее учебное заведение без экзаменов.

ОАР. Луксорский дворец. Фото автора.



4 пиастра, а в первом — 6 (каждый автобус в ОАР разделен на два класса).

Хорошее впечатление произвела школа: прекрасные новые корпуса, светлые классные комнаты, лаборатории, библиотека, спортзал. Школа готовит специалистов трех направлений: техников по электронике, лаборантов и механиков по счетным машинам. В школе обучаются девушки 15—17-летнего возраста, имеющие 6-летнее начальное образование и 3-летнее подготовительное (так делятся общеобразовательные школы в

Знакомясь с жизнью города, мы побывали в кинотеатре (к сожалению, в большинстве идут американские боевики и сверхбоевики) и во многих больших и малых магазинах. Были немало удивлены, когда встретили магазины «Москва» и «Волгоград», где продавцы-армяне говорят на русском, хотя и ломаном языке.

Много незабываемых впечатлений оставила у всех нас поездка по стране, знакомство с ее древней историей и современной жизнью дружественного нам народа.

Михаил Небогатов

Память сердца

Новокузнецанин Михаил Борисов принадлежит к поколению людей, родившихся в начале двадцатых годов, но стихи его начали появляться в областной и центральной печати сравнительно недавно. Эти первые стихи запомнились тем, что главной их темой была война. Поэт рос у нас на глазах. Буквально за какие-то три-четыре года поэтический голос его обрел ту силу и уверенность, которая красноречивей всего свидетельствует, что Михаил Борисов, в отличие от многих начинающих стихотворцев, занимается литературой всерьез. Упорная работа дала свои результаты: в Кемеровском издательстве вышли две довольно объемистые книги М. Борисова: «Верность» (1965 г.) и «Тревожное эхо» (1969 г.).

Семнадцатилетним добровольцем ушел в сорок первом году М. Борисов на фронт. О том, как он воевал, каким отважным, мужественным артиллеристом был этот юноша, можно судить по высокой правительственной награде, которой Родина отметила его солдатские подвиги: Михаилу Борисову присвоено звание Героя Советского Союза.

М. Борисов взял перо не для того, чтобы изумлять читателей какими-то поэтическими экспериментами, словесной эквилибристикой, а для того, чтобы правдиво, искренно и просто поведать о виденном и выстраданном. Это тот счастливый случай, когда человек приобщается к литературе из бескорыстного побуждения поговорить с кем-то по душам, из безошибочной уверенности в значительности того, о чем он расскажет.

Кто был солдатом, тому знакомо горькое, щемящее чувство, которое всегда охватывает душу при воспоминании о войне — ведь столько твоих друзей осталось на ее трудных дорогах. Именно это чувство пронизывает многие стихи-раздумья о том, что было

двадцать с лишним лет назад. А было поистине незабываемое: жарким летом сорок первого года «из Иркутска, Свердловска, Калуги на фронт уходил за отрядом отряд»; «после школы в первых эшелонах нас уже калечила война»; были «госпитальные дни в закубанской станице», ожесточенные, кровопролитные бои на знаменитой Курской дуге, где «тигры» и «пантеры» дымят курят... «юнкеры» подбитые чадают; был канун Победы, день второго мая 1945 года, когда «знамена уже распластали багряные крылья над бывшим рейхстагом».

Связанные с войной впечатления так многообразны и подчас так тяжелы, что в одну из мучительных минут у поэта невольно вырывается вздох: «Горечь давняя, а не много ли накопилось ее в груди?». Но слишком глубоко вошли в сердце человеческие страдания, пожарища и кровь на родной земле, слишком дороги и священные жертвы войны — и грустный вздох сменяется откровенным признанием: «Только мне фронтовыми дорогами захотелось опять пройти», т. е. мысленно вернуться в те дни, которые снова и снова тревожат памятью о пережитом. Да и как прикажешь памяти молчать, если войне отдана лучшая пора своей жизни — юность, если «в полях под Москвой, Волгоградом, Одессой лежат одногодки и братья мои!».

Великая Отечественная война была своеобразной проверкой всех человеческих качеств, и советские люди с честью выдержали эту проверку — они предстали перед миром во всем величии своих мужественных и стойких душ, умеющих в любых испытаниях хранить беспредельную верность Родине и ничем не поколебимую нежную любовь к ней. Советский солдат беспощадно истреблял захватчиков, вторгшихся в Россию с мечтой поработить ее, но он же, рис-

кую жизнью, под огнем спасал немецкую девочку, ибо наш солдат — это не черствый, бездушный солдафон, а человек с добрым, отзывчивым сердцем, которое сжимается от боли при виде плачущего ребенка. Доброта и человечность — отличительное, характерное свойство советского человека, во что бы ни был одет он — в рабочую спецовку или в солдатскую шинель. М. Борисов находит точные слова для выражения сути нашего современника:

И хотя бываем
Суховаты, —
Памятью
Да болью налиты, —
Мы с тобой
По-прежнему солдаты
На переднем крае
Доброты.

Именно на переднем крае доброты всегда стояли и будут стоять советские люди, помогающие всем народам, борющимся за свою свободу и независимость.

Очень дорогой ценой, ценой миллионов жизней досталась нам Победа над коварным и жестоким врагом, и не потому ли такими справедливыми кажутся слова поэта, которые он, думая о дне 9 мая, говорит от имени своего поколения:

Не надо
Ни тебе, ни мне
О сорок пятом
фраз

Красивых...
Поверь:
Пока солдаты живы,
Не позабыть им
О войне!

И пусть не пренебрегают враги мира душой и чувствами вчерашнего солдата. Пусть знают они, что он, вынесший на своих плечах непомерную тяжесть, не дрогнет и перед новыми возможными испытаниями. Глядевшему в глаза смерти смерть не страшна — не за себя он сегодня беспокоится, нет, не только как память о своей юности бережет солдат походную шинель:

С годами она
Не состарилась даже...
И если
Опять загрохочут бои, —
Как в юности давней,
Шинель моя ляжет
По первой тревоге
На плечи мои.

Сегодня бывший солдат занимается сугубо мирными делами — строит школы, косит

хлеб, пишет стихи, но он все время возвращается думами к подвигам, которые совершались в огне и дыму; и поэт сегодняшние свои шаги сверяет с шагами солдатской юности, с великим ратным трудом не вернувшихся домой сверстников:

До сих пор
Горят еще
ладони...
Но не знаю —
Там ли я стою
И достоин
Или не достоин
Тех ребят,
Что падали
в бою?

Все мы знаем, что в критике существует такой термин — «лирический герой».

К стихам Михаила Борисова термин «лирический герой» неприменим. Он пишет по принципу «О том, что знаю лучше всех на свете, сказать хочу. И так, как я хочу» (Твардовский). Его стихи воспринимаются как поэтический дневник. Так уж случилось, что войну М. Борисов знает лучше, чем что-либо другое, вот и говорит он о ней почти в каждом стихотворении. При этом следует отметить одну особенность: хотя все его стихи написаны от первого лица, нигде вы не встретите выпячивания собственного «я». Скрамность, даже застенчивость — отличительное свойство поэта. Это истинно русский характер.

М. Борисов больше всего думает и пишет о своих фронтовых товарищах. Этот мотив проходит через многие стихи: «Лежат друзья на старых рубежах... А я взгляну лишь с пристальностью строгой на этот мир, охваченный тревогой, и снова растроважится душа»; «Былых друзей ищу не первый год»; «И снова, как будто воочью, услышу, как трубы трубят, увижу за черною ночью в бессмертье идущих ребят»; «Вспоминать бы не надо, не затрагивать боли... Но легли здесь ребята воронью на раздолье»; «Последний «тигр» застыл на полпути. Мы устояли... Но какой ценою?! И здесь и там, доколь хватает глаз, с моей судьбой навек неразделимы лицом вперед, вздохнув последний раз, лежат мои мальчишки-побратимы»...

Особенно полно открывается перед нами душа поэта, его характер в стихотворении «Встреча».

Мы с ним разговорились на привале,
Когда, ни рук не чувствуя, ни ног,
Я у костра рыбацкого прилеп,
Чтоб комары поменьше донимали.

Сгустилась ночь притомская,
И ветер
Вдруг замер за приземистой грядой.
А он, изнеможенный и седой,
Заговорил про все и вся на свете...

Случайный собеседник оказался тоже фронтовиком, и разговор сам собой перешел к воспоминаниям о войне, к размышлениям о том, что и сейчас, в мирное время, если случится какая-то житейская беда, нужно выстоять, победить ее.

— Скажи, а легче было в Обояни?
— Конечно, нет!
— А вы?
— Что ж мы? Стояли...
— Так встань сейчас!
— Когда бы только мог,
Но вот, браток,

протезы вместо ног...
И звякнули встревоженно медали.

И вот как по-человечески трогательно заканчивается это стихотворение:

Свой жгучий стыд
За горечь этой встречи
Я позабыть, наверно, не смогу.
...Горит костер на томском берегу,
И у солдата вздрагивают плечи.

Только очень чуткий к чужому горю человек может испытать чувство неловкости, даже как будто стыда, встретив калеку, инвалида. Ведь нет никакой твоей вины, что ты вот вернулся с фронта целым-невредимым, а твой собеседник — без ног, на протезах, и тем не менее сжимается твое сердце от боли за него. Черствое сердце не сожмется...

Уже немолодым по возрасту человеком приобщился М. Борисов к литературному творчеству. Написаны две книги, а чувство неудовлетворенности не оставляет поэта. «Как прожито много... Как сделано мало на этой непознанной толком земле!». Сам поэт наверняка понимает, что, работая только над одной — военной — тематикой, можно невольно впасть в повторение, в перепевы самого себя. По мере своих сил и способностей он старается расширять круг тем, но пока делает это как-то неуверенно, робко. Однако не случайно родилось у него такое обнадеживающее стихотворение, как «Песня о песне»:

Чья-то песня у околицы села
Отзвенела,
отыграла,
отцвела.

Чья-то песня,
Обнимая небосвод,
Над полями, словно радуга,
Плывет.
Только я еще заветную свою
Берегу
И в полный голос не пою...

А в другом стихотворении поэт восклицает:

Не верю,
что в сердце уже отзвучала
Неспетая песня моя!

Не верим в это и мы, читатели. Верим в другое: Михаил Борисов еще не раз порадует нас новыми по-солдатски искренними и чистыми песнями.

Биологическая особь

Предлагаю поправку срочно,
Уточнение необходимо:
Называя класс позвоночных,
Не имейте в виду подхалима.

Куриные пересуды

Усевшись на шесток,
подремывая сладко,
хохлатке
говорит хохлатка:
— Да, было время...
Были и дела...
Вот в той эпохе
очутиться кабы...
— О чем ты?
— Я насчет известной Рябы,
которая яйцо
волшебное снесла.
Подружка
отвечает ей спросонок:
— Среди домашней птицы
ходит слух —
Достался Рябе
золотой Петух...
А наш-то Петя
так себе...
цыпленок.



Классический пример

Начальник штаба
недоволен крайне,
парней
с повязками на рукаве
журит:
— Гулять по центру
каждый норовит!
Бойтесь
городских окраин!
На классику
закрыли вы глаза...
К чему, примерно,
царский гнет изведав,
поэт российский
Грибоедов
дружинников народных
призывал?
Не помните?
Вот то-то и оно!..
Он говорил:
«Нельзя ли для прогулок
Подальше выбрать закоулок?»
...Великих
забывать грешно!

Находчивый завмаг

Я в книгу жалоб
вот что написал:
«Здесь в грубости,
похоже, соревнуются —
хамят
на весь торговый зал,
аж слышно продавцов
на улице.
Примите меры, тов. завмаг,
нельзя же
распускаться так!»
Завмаг ответил:
«Непорядки были,
Совет учли —
дверь
войлоком обили».

Рыцарь на час

Славлю почин
продавца тети Оли!
Всему магазину
не зря он известен —
обязалась в декаду
культурной торговли
никому не грубить,
никого не обвесить.

Эволюция в архитектуре

Что это —
причуды рока?
Какие контрасты, однако!...
Когда-то
был стиль
барокко,
теперь в моде стиль...
барака.

„Космическая“ басня

Венера Юпитеру:
— Это ужасно!..
Новое Солнце
(скажите на милость!)
самое, самое,
у нас во Вселенной,
мой друг, объявилось.
Юпитер:
— Слухи
не пойми превратно —
второе солнце
М А О вероятно.



ОАР. Карнакский храм. Фото Б. Головина. (см. статью «На земле фараонов»)



Цена 30 коп.



**ОГНИ
КУЗБАССА**